

ДИНА РУБИНА



Вавилонский район
безразмерного города



Дина Ильинична Рубина

Вавилонский район

безразмерного города

Текст книги предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42383888

Вавилонский район безразмерного города: Эксмо; Москва; 2019

ISBN 978-5-04-100597-9

Аннотация

В творчестве Дины Рубиной есть темы, которые занимают ее на протяжении жизни. Одна из них – тема Рода. Как, по каким законам происходит наследование личностью родовых черт? Отчего именно так, а не иначе продолжается история того или иного рода? Можно ли уйти от его наследственной заданности? Бабка, «спивающая» песни и рассказывающая всей семье диковые притчи; прабабка-цыганка, неутомимо «присматривающая» с небес за своим потомством аж до девятого колена; другая бабка – убийца, душегубица, безусловная жертва своего времени и своих неукротимых страстей... Матрицы многих историй, вошедших в эту книгу, обусловлены мощным переплетением генов, которые неизбежно догоняют нас, повторяясь во всех поколениях семьи.

Содержание

Предисловие	5
Дорога домой	9
Бабка	15
Цыганка	60
Душегубица	84
Конец ознакомительного фрагмента.	89

Дина Рубина

Вавилонский район

безразмерного города

*** * ***

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Д. Рубина, 2019

© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2019

Предисловие

Заведенный порядок этого мира

Старики занудны... Кто вообще вслушивается в то, что они говорят, особенно, если это *твои старики*: бабка, дед, бабкина сестра Бэрта с ее дурацкими «партийными собраниями»... Старики рассказывают ветхозаветные притчи, интересные одним лишь тараканам на кухне. Старики допотопны, их проблемы ничтожны, их жалобы смешны. В конце концов, они помирают – и это правильно. Старики должны помирать, а иначе для чего существует заведенный порядок этого мира?

И вдруг однажды ты понимаешь, что, собственно, сама превращаешься... ну, не в старуху пока, а как бы это помягче... в *женщину в возрасте*. Что у тебя тут ненароком возникли внучка и внук, дорогие тебе детища, замечательные ребятки, которым до тебя – и это так заметно! – совершенно нет дела. Моя деловая внучка недавно отрезала посреди какой-то моей высокоумной фразы: «Баба, помолчи, а? Мешаешь...» И мое первое желание возразить семилетней засранке, что меня пока вполне таки слушают полные залы, а читают еще более обширные массы людей, мгновенно разбилось о ее незамутненный взгляд нового человека. Представителя нового поколения. Свеженькую личность, которая луч-

ше знает – что лично ей понадобится в жизни. Которой недостиг выслушивать рассуждения бабки, пусть и любимой...

И я вспомнила свою бабушку Рахиль.

Ташкентское землетрясение (раньше я писала «знаменитое ташкентское землетрясение», но с недавних пор поняла, что величие того или иного события связывается с непрочными жизнями переживших его, и быстро тускнеет для остальных), – ташкентское землетрясение 1966 года грянуло, когда мне исполнилось тринадцать лет. Подземные толчки растрясли половину города, в основном, конечно, частную застройку. Саманный домик моего дядьки, слепленный после войны его собственными руками, растрясло изумительно точно, я бы сказала, концептуально точно: из него вывалилась наружу одна стена. Целая стена той комнаты, где я спала на топчане, приезжая к бабке на каникулы трамваем.

Помню яркое апрельское утро, слегка курящееся повсеместно поднятой пылью от развалин. Я проснулась на своем топчане и сижу на нем, как на сцене, свесив босые ноги. Ибо снаружи стоит во дворе моя бабка Рахиль, и, оперев руки в бока, толкует с моими друзьями Мишкой и Семкой.

– Теть Рахилья-а-а... – тянут они. – Отпустите Динку скорпионов в банку ловить...

Скорпионы, потревоженные судорогами почвы, действительно полезли из всех саманных щелей, из обломков кирпичей и действительно возникли всюду в огромных количествах: Азия... Мы их ловили в банки, заливали разными

жидкостями, и этот сок считался противоядием от укусов. Банку можно было недурно продать и обогатиться: мороженого закупить, надувных шариков, деревянных свистулек. Занятие весьма опасное, что и говорить. Но с каких это пор опасность отпугивала настоящих охотников?

– Я вам дам скорпиенов! – вопит моя бабка. – Хляньте на этих паразитов! Такое хоре крухом, люди остались без дому, без постели, а у вас одни удовольствия в голове!

С возрастом начинаешь за возрастом следить: замечаешь некую цикличность жизни, неумолимое обаяние ее бестрепетного хода, ровный бег этих валов, наплыв – откат, весну – осень...

Однажды, прихватив маму и беременную дочь, я вывезла их прогуляться-проветриться. Мы катили по шоссе, за моей спиной моя мама и моя дочь о чем-то оживленно спорили, причем дочь повторяла, что, мол, бабуля, ты просто не в состоянии что-то там понять. Или что-то в этом роде. Я тоже время от времени встревала в их спор со своими репликами. И вдруг с пронзительной ясностью поняла, что сейчас, в этой машине, находятся четыре поколения женщин моей семьи, моего рода, одна из которых еще в утробе сидит, но вполне вероятно, к разговору прислушивается и свое мнение имеет. Я расхохоталась и на вопрос мамы и дочери – о чем это я, отвечать не стала: тогда бы они меня просто не поняли... Просто не поняли, что до меня донесся тихий шелест иных голосов.

Тихий шелест разговоров давно ушедших стариков, которые почему-то с годами разгораются в тебе все ярче, становятся все дороже. И вот сейчас бы ты поговорила, вот сейчас бы расспросила обо всем. Откуда взялась и как проросла в наследниках прабабка-цыганка, и что ж это за глупость такая, что, потеряв ценную вещь (кольцо или серьгу, или кошелек, например, вытащили), ты радуешься хорошему знаку: отпустили, выходит, тебя там, наверху, если *взяли деньгами...*

А потом ты просто осознаешь со слепящей ясностью, что ты и есть – просто звено в этой цепочке рода, просто ячейка генов, просто ступень в бесконечность бесконечных переплетений родственных жизней от Евы до... может быть, другой Евы?

И тогда ты мысленно раскидываешь руки, пальцами правой касаясь давно истлевшей руки собственной бабки, а пальцами левой – маленькой юркой ручки собственной внучки, и удовлетворенно понимаешь: ты на месте. Ты там, где, даже и умерев, положено тебе стоять во веки веков.

Дина Рубина

Дорога домой

Лет в восемь или девять я сбежала из пионерского лагеря, первого и последнего в моей жизни. Подробности не помню; кажется, он был обкомовским, этот лагерь, и находился в предгорьях Чимгана, километрах в двадцати от города, где-то в районе Газалкента.

Меня туда пристроила по благу мамина подруга, и, усаживая меня в автобус, мама оживленно твердила, что на завтрак там дают икру и сервелат – это было основным доводом в пользу моего удаления из дома. Я же не понимала, кому и чем так помешала моя вольная беготня по окрестным улицам и дворам, чтобы запихивать меня в автобус с целой оравой горластых обормотов и так далеко увозить: растерянность кошки, выглядывающей из неплотно застегнутой сумки.

И недоумение: что мне этот сервелат? А скользкая соленая икра, медленно и жутко шевелящаяся, тогда просто внушала отвращение.

В лагере помню только утренние пионерские линейки и резь в глазах от хлорки, густо посыпаемой в чудовищном казарменном туалете с дырками в полу. Сейчас пытаюсь припомнить какие-нибудь издевательства или серьезную обиду, из чего бы состряпать убедительный эпизод, оправдываю-

щий мой дикий поступок... Нет. Ничуть не бывало! Человеку, для которого главное несчастье – место в пионерском строю и общая спальня, незачем придумывать иные ужасы. Видимо, я просто не была создана для счастливого детства под звуки горна. Впрочем, я всегда игнорировала счастье.

Сбежала я на четвертый день, дождавшись отбоя. В темноте не удалось нащупать под кроватью сандалии, поэтому, бесшумно выбравшись через открытое окно на веранду, я отправилась восвояси босиком. Это было не страшно: кожа на ступнях за лето становилась задубело-нечувствительной. Пролезши через дырку в заборе и по остановке автобуса вычислив направление на Ташкент, я побежала по еще теплой от дневного жара асфальтовой дороге, сначала бодро и возбужденно (мне все чудилась погоня, так что, заслышав стрекот далекой машины, я сбегала с дороги и пряталась в кустах, а если их поблизости не было, просто падала лицом и животом в высокую придорожную траву, сильно пахнущую шалфеем и полынью), потом шла все медленней, затем, под утро, уже устало плелась...

Я шла, чувствуя направление внутренним вектором, как та же кошка, завезенная черт знает в какую даль...

Чем глубже в топкую вязкую ночь погружалось окрестное предгорье, тем выше и прозрачнее становилось небо над головой. Великолепная россыпь ярко мигающих тревожных звезд – игольчатый иней на гигантском стекле – пульсиро-

вала в невыразимой, несказанной вышине. Там шла бесконечная деятельная жизнь: неподвижными белыми прожекторами жарили крупные звезды; медленно ворочались, перемещаясь, маяки поменьше; суетливо мигали и вспыхивали бисерные пригоршни мелких огней, среди которых носились облачка жемчужной звездной пыли. Все жило, все плыло и шевелилось, боролось, заикалось, требовало, вздымалось и опадало в той ужасающей, седой от звезд бездневерху... Там шла какая-то непрерывная контрольная по геометрии: выстраивались фигуры – окружности, углы и трапеции, а прямо в центре неба образовался квадрат – окно, довольно четко обозначенное алмазным пунктиром, и, сколько бы я ни шла, то убыстряя, то замедляя шаг, это окно плыло и плыло надо мной, и мне казалось, что внутри своих границ оно содержит звезды более яркие, более устрашающие и одушевленные, и что наверняка где-то там, в другой вселенной, тоже идет по дороге одинокая и упрямая девочка, и над ней тоже плывет призывное это окно... Я придумала себе, что там вот-вот что-то произойдет, мне что-то покажут в этом космическом окне, поэтому то и дело останавливалась, задирала голову и пристально следила за знаками, каждый раз обнаруживая удивительные события: новые вспышки завихрений, новые сообщества беспокойно мигающих звезд... Иногда я принималась энергично махать руками, подавая знаки той, другой девочке: а вдруг у них такая развитая цивилизация, что она меня видит в какой-нибудь космический телескоп?

Раза два-три за всю ночь темная дорога вливалась в какие-то населенные пункты, скудно освещенные десятком глухих фонарей. Каплями густого меда вдали теплились окна кишлаков, тянуло горчайшим дымом горящего кизяка, и разной высоты голосами перебрехивались псы, отвечая на дрожащий крик осла...

Я шла всю ночь; на рассвете добрела до трамвайного круга на окраине города, дождалась первого пустого трамвая и бесплатно (кондукторша очень испугалась, увидев меня) доехала до дома.

Впоследствии никто из знакомых, и родители тоже, не верили, что я прошла весь этот путь ногами.

– Тебя подвезли? – допрашивали меня. – На машине? На повозке? На велосипеде? Ведь ты не могла проделать босиком весь этот путь одна, да еще ночью...

Именно одной и ночью, молча возражала я, только одной и ночью можно было проделать этот долгий одинокий путь среди бушующих запахов предгорья, под бесконечным и бесчисленным воинством планет, комет и астероидов, что так страшно и глубоко дышали и сражались в небесном окне над моей головой...

Эта дорога домой под лохматым от звезд горным небом, запахи чабреца, лаванды и горчащий дым кизяка от кишлаков, дрожащий, страдающий крик осла на рассвете – все это,

при желании возбуждаемое в моей памяти и носовых пазухах в одно мгновение, останется со мною до последнего часа.

Именно в ту ночь я стала взрослой – так мне кажется сейчас. Мне кажется, в ту ночь возвращения домой под невыразимо ужасным и невыразимо величественным небом я поняла несколько важных вещей.

Что человек одинок.

Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту.

Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета в другие миры...

Отчетливо помню лицо отца, который открыл мне дверь часов в шесть утра. За ним с воплем выбежала мама в ночной рубашке: не ждали...

Почему-то меня не отлупили. Выяснять сейчас у мамы причины этого считаю бестактным, да она и сама вряд ли помнит. Но подозреваю, что отец мне втайне сочувствовал: он и сам господин не из компанейских. Мама же причитала, ужасалась, сокрушалась. Дело, конечно, не в сервелате и не в «горном воздухе для здоровья», а просто – это ж уму непостижимо: да любому бы ребенку... да другой мечтал бы о таком счастье... и вообще, полюбуйте на это чудо – разве это нормальная девочка?

Я молча прошла в узкую, как пенал, «детскую», где спали мы с сестрой, и легла на свой диван с одним валиком в

головах; другой я давно отбрыкнула удлинившимися за год ногами.

Мимо меня плыли темные поля с рассветными огоньками далеких окон, на пепельном небе замирали и гасли звезды, асфальт под босыми ногами давно остыл. Я шла и шла, и была главной осью Вселенной, крошечным колышком, вокруг которого вращались бездонные, беспросветные, раз и навсегда неизменные миры...

Что-то осталось во мне после того побега из пионерлагеря, после той длинной ночной дороги домой; я думаю – бесстрашие воли и смирение перед безнадежностью человеческого пути. Что увидела я – ребенок – в том неохватном, том сверкающем окне Вселенной, о чем догадалась навек?

Что человек одинок?

Что он несчастен всегда, даже если очень счастлив в данную минуту?

Что для побега он способен открыть любое окно, кроме главного – недостижимого окна-просвета в другие миры?

Июнь 2011 г.

Бабка

Она звала меня «мамэлэ» и...

Вновь и вновь ворошу память: что бы еще дополнило благостный образ еврейской бабушки? Боюсь, что ничего. Вот уж благости в моем роду днем с огнем не сыскать; в бабке – тем более.

Правда, на давней сохранившейся карточке выражение лица у нее не то что умиленное или смиренное, скорее... постное. Разве что очи не возведены к небесам. Полагаю, придуривалась.

Снята она восемнадцати лет – длинные косы вдоль длинного платья – на фоне каких-то живописных развалин. Нога в узкой туфельке с медной пряжкой попирает обломок скалы, за спиной – витые колонны, мавританские арки, забранное плющом окошко венецианского замка... Фотограф местечка Золотоноша питал возвышенную страсть к искусству и декорации в своей студии расписывал сам.

Дочери Пинхуса Когановского сняты им на карточки в один летний день начала прошлого века (все пять в легких платьях); и ему потребовалось немало фантазии в рассуждении композиции, дабы расставить их в разных, чрезвычайно изысканных позах. Моя юная бабка извернулась совсем уж неестественным образом: локоть уперт в приподнятое колено, подбородок в ладонь – очень романтично.

Но что поражает меня до сих пор на той устричного цвета картонке – ее нервные руки (узкая кисть, длинные пальцы, безусловно овальная форма ногтей), руки, однажды узнанные мною в портрете Чечилии Галлерани, знаменитой «Даме с горностаем» Леонардо да Винчи, когда я прогуливалась по музею князей Чарторыжских в Кракове.

Между прочим, в семье невнятно поминали некоего художника, что в юности «снял с нее портрет». (О, эти художники! Всюду, куда ни кинь, – художники в историях моей семьи. Думаю, и на том свете я обречена позировать какому-нибудь тамошнему мазиле.)

Так вот, некий молодой художник был якобы в нее, в мою бабушку Рахиль, *влюблен смертельно*. Туманный шлейф незадачливой юношеской любви рассеивается в отсутствие деталей. Художник куда-то делся. «А портрет? Где же портрет?» – задаю я маме идиотский вопрос и, спохватившись, умолкаю. Какой там портрет...

Из пяти сестер Когановских Рахиль была самой артистичной. Во-первых, она пела. Во-вторых...

Нет, надо бы не так.

Не удастся мне отринуть вечную иронию к собственной родне и сосредоточиться на образе! А образ того стоит: высокая, гибкая, с алебастровой кожей, глаза зеленые, смешливые – бабушка всегда привлекала к себе внимание. «На нее

оборачивались, — вспоминает мама. — Когда мы появлялись на пляже, головы всех мужчин сворачивало в ее сторону, как флюгера под ветром».

В детстве к этому свидетельству я относилась недоверчиво: разве тогда были пляжи? Где — в местечке Золотоноша? Были-были, отвечают фотографии, письма, а также мерцающие кадры старых кинолент. В фильмах времен бабкиной молодости все купальщики, известно, выглядят уморительно. Я представляла свою бабуку в полосатом купальном трико эпохи Чарли Чаплина, приседающей на берегу в энергичной физзарядке, — и дико хохотала.

Словом, бабушка была неотразима. Во-первых, она пела. Да: пела в застолье. И не просто пела. Она «спивала украински песни божественным голосом». Соседи и друзья сбегались послушать, как Рахиль выводит грудным своим контральто заливистые кренделя. Вот это мамино «спивала» в моем детском воображении воплотилось в фольклорную картину: молодая бабушка, в украинском кокошнике с лентами, упоенно закинув голову, так что горло трепещет, как у нашей желтенькой канарейки, *спивает: впивает, пьет* нежные переливчатые песни над праздничным столом: «Ничь яка місячна, зоряна, ясна... Видно, хочь голкы збырай...»

Ну, и так далее.

И все же не песня была ее коронным номером. Когда наполовину опустошались бутылки и штофы с наливками и свет люстры отражался в потных лысинах и лбах, когда уже пла-

менели разгоряченные уши, и шмыгали от удовольствия носы, и утирались салфетками усы и бороды, кто-нибудь из гостей обязательно просил:

– Рухэлэ... представь!

В ответ она сооружала изумленно-оторопелое лицо.

– Представь, представь! – неслось со всех концов стола. – Хватит придуриваться!

Она разводила руками, пожимала плечами, с недоумением оглядывалась, будто не к ней взывали, а к кому-то за ее спиной.

– Представь!!! – вопили гости.

– Та я шо ж... – начинала мямлить она. – Шо ж... разве ж я...

Далее – из растерянных ухмылок, заикания, бесконечного повторения одних и тех же дурацких фраз – возникал монолог какой-нибудь отсутствующей, не называемой ею соседки, чье имя выкрикивалось дружным хором гостей на второй минуте представления, настолько убийственно точно – интонационно, характерно, тембром голоса и ужимками – передавала бабка образ человека. Язык и текст «номера» соответствовал персонажу. И скороговоркой на «суржике» представала перед гостями какая-нибудь Оксана Петровна Федько, торгующая на рынке дюжину яиц: «Та то ж у вас разве яйца?! Не будет вам от мени комплименту на ваши яйца!» Или Голда Рафаиловна, отставшая от поезда на пересадке в Меджибоже; аптекарша Голда Рафаиловна Ганц, которая

в тщетной попытке уберечь пять чемоданов от шныряющей вокруг шпаны перетаскивает свою откляченную задницу с одного на другой, проклиная на идише собственных детей и внуков – мол, те дали ей неправильную телеграмму.

И долго рокотал над столами, повизгивал и кудрявился восторженный смех гостей...

Я таких застолий не помню. Это были уже другие времена и другие земли: не благодатная довоенная Украина, а знойное столпотворение саманного Ташкента, куда – через Кавказ и Казахстан – моих родных занесло эвакуацией в начале войны и где они застряли навсегда. Но то, как моя бабка Рахиль «представляла», отлично помню с младенчества. Никаких сказок, никаких стишков из детских книжек – ничего такого, чем обычно пичкают ребенка, заставляя «съесть еще ложечку».

Одни лишь истории сегодняшнего утра.

– Отойди, – говорила она маме, пытавшейся впихнуть хоть немного еды в мой намертво захлопнутый рот. Вытирала руки о фартук и усаживалась на стул, полубоком ко мне, вполоборота к маме. Она и обращалась-то к маме, не ко мне, так что я, с опостылевшей кашей во рту, оставалась брошенной на произвол судьбы безо всякого внимания заинтересованной публики. Меня разом исключали из сюжета, переводя в ранг стороннего слушателя.

– Еду сегодня на Алайский... – начинала бабка неспешно,

сосредоточенно размешивая ложкой кашу в моей тарелке, как бы взбивая небольшую волну и сразу ее успокаивая. – Я еще со вчера задумала *гефилтэ щуку*, а щуку, ты ж понимаешь, брать надо с утра, пока в ней глаз не замутился... Ну, в трамвае битком, не продохнуть, но меня таки усадил какой-то студент. Студенты – вежливые, Рива, ты заметила? Один мне как-то сказал «мадам», может, он уже был профессор?

Никогда не удавалось уловить тот миг, когда ее обыденная речь плавно переходила в говорок рассказчицы. Возможно, она и сама его не замечала.

– Сижу ото так у окна, рядом дама в фасонистой шляпке... Влезают на Первомайской старик и мальчик, небольшой такой паренек, ну, лет, как прикинуть, восемь... Их тоже усадили – против меня; сумку свою старик поставил на пол промеж ног, едем... Вдруг смотрю: сумка-то шевелится! – Ее рука молниеносно зачерпывала ложкой кашу и зависала в воздухе. – И там, в щели... ой, готеню! Ушки-то... ушки такие серые – чик-чик! чик-чик!.. – Полная ложка следовала прямоком в мой открытый рот. – Жуй, жуй как следует, мамэлэ, такую кашу не каждому ребенку варят... А ну, думаю, шо ж там такое?.. Какой такой зверек?.. Прикрути огонь под супом, Рива... А ты давай, глотай, сидит, щеки надула...

– В сумке... – мычу я, глотая комкастую массу во рту, – кто?

– Кто... я вот и спрашиваю дядьку вежливо: «Старичок уважаемый, а кто у вас в саквояже ушами шевелить?» Ох, как он осерчал! Сумку к себе придвинул, захлопнул, ногой под сиденье зашоркнул: «Не ваше дело, *эр зугт*, гражданка, чего суетесь в чужой саквояж!»

Каким образом, при помощи каких неуловимых ужимок, гримас и жестов, понижения и повышения тембра голоса и полной его перемены она умела передать сутолоку, дребезжание, скрежет и перебранку пассажиров утреннего трамвая; какой выразительной мимикой воссоздавала образ сварливого старика с волосатыми ушами, какими жалостливыми интонациями умела вызвать сочувствие к притихшему пацану на деревянной лавке трамвая – это я бессильна передать. А вставные словечки на идише расцвечивали рассказ забавной и убедительной инкрустацией, и картина вставала перед глазами в неопровержимой подлинности: не верить этой истории было просто невозможно. Я глотала кашу, ложку за ложкой, только бы не останавливалась бабка, только бы длился ее рассказ!

– Гляжу на мальчика – а он пла-а-ачет. И горько так молча плачет и, видно, боится старика. А соседка... женщина-то в фасонной шляпке, у нее там на полях лежат этак три вишенки, ну прямо живые, бери и ешь! Она тихо мне говорит: «Я думаю, милицию пора звать. Не знаю, *зи зугт*, что там у него в саквояже, а только *оно стонет!!!*» И кричит: «Вожжа-атый! Тормози транвай! Тормози транвай!» Ну...

то-се, скандал, вожатый тормозит, в вагон вбегает милицанер. Так... последняя ложка... молодец, вот и каше конец.

– Дальше!!! – кричу я возмущенно.

– А что дальше... Милицанер документы смотрит: все, мол, в порядке, все свободны, свидетелей отпускаю. Это просто, *эр зугт*, старичок с внучком везут на рынок кроля продавать.

– Нет, ну погоди! – возмущается мама. Она сидит на соседней табуретке, так же, как и я, напряженно слушая бабкин рассказ. – Что это за конец такой, ты что, смеешься! Только растравила ребенка. Как там на самом деле было?..

И умолкает, наткнувшись на бабкин насмешливый взгляд.

Для меня-то она всегда была старухой.

Ее растрескавшиеся руки помню как самые рабочие из всех, что встречала в жизни. Первое, что я видела и чувствовала, просыпаясь, – эти руки: тяжелые квадратные кисти, грубые пальцы. Она поднимала меня и на теплое со сна тело натягивала лифчик с болтающимися резинками, к которым цеплялись чулки. От прикосновений ее пальцев к материи возникал шорох. Если она нечаянно ужаливала ледяными заусеницами горячее тело с исподу ляжки, я взвизгивала:

– Ай, баба, колючки!

Эти руки, их жесткий холод по утрам (посуду она мыла в миске холодной водой – горячей не было) навеки слиты в памяти с жемчужным окном, с его шершавой, всегда чарую-

ще новой картинкой: сказочные звери в чащобах морозного лесоповала. Значит, зимние каникулы, первый класс...

Моя память так уютно обжила эти недели, зимние и летние, прожитые на Кашгарке, в домике с единственным, но большим окном, лучезарным, как экран в стремительно меркнувшем зале кинотеатра. Весной и летом оно было полно сумрачной тополиной листвой, зимой же... Не любой зимой, но редкой холодной, какая выпадала на мое детство раза три, – заиндевшее окно-театр проявляло все свои летние видения застывшими на стекле: там по морозно-расписному заднику проносились сцены погони, сражений, свадеб и похорон, там медведи ворочали толстые бревна, там бабочки навеки замерли на кустах магнолий, там в густой сети окаменела белая рыба...

А между хлипкими рамами окна бабка держала продукты – холодильников не было. По утрам она доставала очередной пакет или кулек, придирчиво нюхала, сомневаясь: выбросить или деду отдать... Она считала, что у деда железный желудок.

– Сэндер, – говорила она с заметным одобрением, – о, Сэндер имеет *айзенер бух!*

Айзен – «железо» – было одним из ее любимых словечек. Тупую голову называла *айзенер тухес*, «железной задницей», и часто повторяла, что на еврейские фамилии ушло много железа. И ведь правда: в моем классе учился мальчик Саша Айзен и девочка Лина Айзенберг, а фамилия нашего завуча

вообще была устрашающей: Айзенблат – «железная кровь»! Вот среди чего я росла.

...В этих саманных лачугах, слепленных после войны на скорую руку, часто гасло электричество, и, если такое случилось вечером, бабка *запаливала* свечу. Вид горящей свечи – первое и самое сильное впечатление от борьбы стихии с хладнокровно-прожорливым временем. Лежа на топчане, где мы с бабушкой спали валетом (ее ледяные ноги упирались в мое горячее тело, изрядная часть ночи уходила на мои тщетные попытки отодвинуться), я следила за трепетом упрямого огня, не отводя глаз, внедряясь зрением в оранжевую сердцевину тонкого лезвия, и последнее, что видела с подушки, засыпая, – порхающий в черном окне огненный мотылек. Ни разу не удалось мне досмотреть эту битву, в которой всегда погибал огонь. Утром на месте свечи горбилась на блюде восковая лужа с обугленным фитилем в застывших парафиновых волнах. Это и были первые уроки творчества, первая его заповедь: мир твори огнем, лепи его из обжигающе горячей плоти – поздно менять, когда застынет.

А ведь все это было таким привычным: и холодная вода по утрам, и жужжащий примус на веранде, и лужа застывшего парафина, и кастрюля с прокисшим борщом за окном, и уборная во дворе...

Раз в неделю или чуть реже во двор протискивался грузовик с углем. Немедленно хлопала дверь в крайнем от ворот

домике, на крыльцо выбегала Шарапат, третья дочка дяди Хамида, и пронзительно кричала: «Жопер Ванючка! Жопер Ванючка угля приехала!» Это означало только одно: шобфер Ванюшка привез угля.

Печка была веселая, серебристая, казалась круглое брюхо, утренний свет струился по ней ручьем, стекал по серебряному брюху сверху донизу, упираясь, как в запруды, в чугунную заслонку, похожую на черный тульский пряник с выдавленным рогатым оленем. Угля жрала она этим брюхом немеренно.

Бабка вносила со двора ведро угля, высыпала его на железной поддон перед заслонкой (драгоценный антрацитовый блеск на острых гранях) и принималась разжигать огонь. Вот что меня завораживало: она укладывала в огонь куски угля голыми руками. Так же как снимала с огня примуса кастрюлю с вареной картошкой – просто поднимая ее за алюминиевые ушки.

– Ба, ты что! Больно же?

– Та не, – отзывалась, насмешливо щурясь. – Они ж у меня *деревянные...*

Этими руками каждое утро она бинтовала деду культю ног. Длинные бинты змеились по струганым половицам. Сначала разворачивала их, как свиток, потом сворачивала в тугую рулон и затем бинтовала. Почему дед не вскрикивал от прикосновения бабкиных рук – не знаю. Никогда не слы-

шала, чтобы он звал ее как-то иначе, чем «Рухэлэ» – что на русский можно бы перевести как «Рахиленька», если б этот перевод нес в себе хотя бы толику упругой и нежной силы, с какой он произносил ее имя. Дед был человеком вспыльчивым, но даже у меня, ребенка, хватало ума, вернее чутья, понять, что все ссоры затевала она, бабка. Ее упрямство и желание всегда настоять на своем стали в семье легендарными. (Если и сегодня, спустя пятьдесят лет, я пытаюсь непременно доказать что-то своему отцу, не отступаясь и приводя все новые и новые аргументы, – я нередко заслуживаю его коронной отрывистой фразы: «Уп-пертая порода Когановских!»)

Но даже в самых громких скандалах, даже отбрасывая в бешенстве стул к стене, с пеной на губах дед кричал бабке: «Рухэлэ!!!»

Ног он лишился уже в преклонном возрасте: ему *отрезалоногитрамваем*. В раннем детстве я была убеждена, что это одно слово, вернее, одно непрерывно воспроизводимое в воображении действие: некое гигантское, ужасное, неумолимое *оно*, взмахнув, как кинжалом, трамваем с отточенными колесами, одним махом отрезает долговязые ловкие ноги моему удалому деду, бывшему коннику и танцору.

За что?

Странная глухота и слепота глазастого детства к домаш-

нему окружению: я не помню этого события, хоть мне и было тогда уже лет пять – изрядная дылда. Зато помню всех городских сумасшедших, всех инвалидов в нашей округе, помню грохот подшипников деревянной «инвалидной» платформы по асфальту улицы или глинистому твердому накату двора. Помню божественный вкус нежно хрустящей на зубах ножки голубя, зажаренного пацанами в углях за помойкой; помню наглое покачивание цветастых юбок на молодых цыганках, увешанных монистами и младенцами. Подробно помню волшебное барахло с тележки «шара-бара», запряженной понурым осликом: старый узбек обменивал на бутылки глиняные свистульки и тугие, румяно раскрашенные шары, выдутые из аптечных сосок... Я помню страшное одутловатое лицо нашей больной соседки, которую я считала несчастной старухой, а она вдруг родила славного толстенького младенца. А вот трагедию родного деда вымело из моей пустой кудлатой башки. И даже те картины, что возникают перед моими глазами при упоминании этого случая, – всего лишь то, что я вообразила и запомнила с маминых слов. Свидетелем несчастья, рассказывала мама, стал сослуживец моего дядьки, который видел, как дед пытался вспрыгнуть на подножку трамвая и, не удержав равновесия, упал навзничь на рельсы, когда трамвай уже тронулся. Сослуживец бросился в техникум, где мой дядя преподавал физику. В тот день была объявлена контрольная, и в классе стояла тишина, лишь мел дробно постукивал по доске, выписывая условия задачи.

Короче, дядя примчался в больницу как раз в тот момент, когда «Скорая» привезла деда Сэндера в приемный покой. Врач попросил дядю снять с пострадавшего сапоги; тот взялся за правый сапог деда, потянул... вместе с сапогом снялась нога. И – кавалер трех орденов Славы, капитан артиллерийских войск, чья батарея одной из первых вошла в Берлин, – мой дядя свалился на пол без сознания, в обнимку с отцовой ногой.

Когда случилась беда, друзья и сослуживцы (дед был виртуозным рубщиком мяса) собрали приличную сумму и явились к нему торжественной скорбной группой. Денег он не взял. Сказал: «Я ведь живой еще, я заработаю...» И точно: научившись ходить на протезах (ау, молодой и сильный лейтенант Мересьев, чей подвиг мы изучали в советской школе!), вернулся в мясную лавку на Алайском базаре и целый день стоял на тех протезах, разделявая туши. Множество раз я видела, как он работает, как взлетает топор над колодой, как хрястко вонзается страшное лезвие в сизое баранье и бурое говяжье мясо, вздымая зудящие облачка настырных мух... В моем гончем воображении возникало огромное безликое *оно*, и отточенные колеса трамвая хрястко прокатывались по ногам деда Сэндера, *конника* и танцора.

– Почему – конника? – спрашивала я маму в детстве.

– Потому что в Первую мировую дед воевал в кавалерии! Кавалерия – это кони, – отвечала мама, каждый раз возму-

щаяся моей забывчивостью. Мне же просто нравилось то, с каким гордым любованием произносила она слово «конник». – Твой дед был сумасшедшим лошадиником. К нему лошади, даже чужие, шли, как к мешку с овсом. Он и в Отечественную, хоть и пожилым человеком, устроился в конюшню при летном клубе – чтоб с лошадьми быть. Ну а танцором дед был в молодости таким, что, если он танцевал на столе, ни одна рюмка не то что не разбивалась, а даже не звякала! Он и бабу-то *вытанцевал*. Плясал на спор целый час, глядя на нее не отрываясь; ногами чуял – куда ступать...

Я тогда не понимала, что мой дед – герой. В свои шестьдесят, на двух протезах, только с палочкой, он забирал меня из детского сада и поднимался до нашей коммунальной квартиры на четвертом этаже: ребенок не должен идти один, не дай боже, кто притаился там, в закутке...

К своему положению дед относился житейски просто. Однажды, вернувшись из поликлиники, растроганным голосом рассказывал про мальчика, что сидел напротив, в коридоре, в очереди к врачу. Как тот мальчик сказал звонким голосом: «Ма, смотри, какой дедушка счастливый: у него ноги ниже колен отрезало».

– У пацана-то культя обкорнали гораздо выше, – добавил дед, ребром ладоней как бы отсекая от своих коленей лишние куски профессиональным движением рубщика мяса.

А ведь этот домик в большом, полном ребятни ташкентском дворе на Кашгарке (самом вавилонском, самом многоязыком районе утрамбованного эвакуацией безразмерного города), этот саманный домик: комната и кухня, выходящие на большую веранду, увитую старой виноградной лозой, – принадлежал не бабке с дедом, а второй жене моего дяди. Причем женой *расписанной* она так и не стала. Но года три они прожили вместе, для чего и была совершена короткая рокировка: дед с бабушкой переехали в ее домик на Кашгарке, а она – в такую же развалюху, мазанку, на улице Чимкентской, которую, вернувшись с войны, своими руками сложил-слепил для себя и родителей мой энергичный дядя.

Смутно помню узколищую блондинку – большая грудь в мохнатой кофточке, уютный вырез, в котором утопает блестящий кулон. Кажется, звали ее Лизой. Кажется, они были коллегами: оба работали в вечернем техникуме, дядя – завучем, она – преподавателем географии.

Ранний вдовец, обремененный трудным пятнадцатилетним сыном, он любил эту женщину, как понимаю я сейчас, сильно, нелепо и даже слегка безумно. А у нее тоже был мальчик, и тоже пятнадцати лет. И, в отличие от моего дикого двоюродного братца, тот был покладистым дружелюбным подростком. Именно он, помнится, пожалев мою тощую задницу, за каникулы отбитую до синяков принудительным катанием на братнином велосипеде, прикрутил к железному багажнику, где обычно я сидела, судорожно вцепившись

в рубашку брата, учебник немецкого языка, предварительно обернув его своей футболкой.

– Так удобнее будет, – сказал, улыбнувшись. Его звали Алик... и это милое имя до сих пор произносится в моей памяти с беззвучной улыбкой, заодно вызывая безотчетную симпатию к любому одноименному прохвосту.

Мой вездесущий брат все лето гонял на велосипеде по городу, умудряясь за день досадить и отцу с Лизой, и бабке с дедом, и всем, кому попадался на пути. Бабка любила повторять, что этот *лэйдегеер* – «балбес, бездельник» – повсюду «ищет драку на сраку». «*Эр зихт макес аф ин тухес!*» – повторяла она в сердцах и была права. Он без усталости, самозабвенно искал приключений и, что самое интересное, находил. Чаще всего пострадавшим оказывался он сам, но при этом, даже размазывая кровавые сопли, почему-то выглядел удовлетворенным.

Мне не разрешалось выходить со двора, и это придавало ему азарта. Если что-то не позволено, надо этого добиться любым путем. Меня он выкрадывал.

– Поехали *черта смолить*, – предлагал вначале вполне приветливым тоном.

«Черта смолить» – это было еще одно бабкино выражение, и применительно к затеям моего братца, *этого лэйдегеера*, означало оно не просто «безделье», а совсем уж идиотское ветрогонство.

– Не, – миролюбиво отзывалась я, еще надеясь, что он отвлечется и отстанет.

Иногда так оно и случалось. Но чаще, встретив сопротивление, он загорался и напирал уже всерьез, с возрастающим воодушевлением.

– Только до пива прокатимся, – и хлопал пятерней по багажнику. – Туда и обратно!

– Не, – благоразумно и опасливо отвечала я, зная, что «до пива» (пиво качали из бочек на углу Кашгарки и улицы Ленина) – это лишь предлог, а покатит он дальше, дальше – до Алайского, до Энгельса, до Первомайской, потом до ОДО, окружного Дома офицеров, а там и до Луначарского шоссе...

Вообще его идей и забав я побаивалась. В характере брата сочетались дикая энергия с полнейшей безответственностью и неожиданными всполохами веселой злости. Бабкино «черта смолить» точнейшим образом подходило к его характеру и устремлениям.

Сейчас понимаю, что у него были явные садистические наклонности. Мои страхи его забавляли, подстрекали, а вечная отключенность и равнодушие к дворовым играм приводили в сильнейшее раздражение.

– Тогда до парикмахерской и назад, – говорил он. – Пулей!

Я ненавидела безумные скачки на багажнике его велосипеда по ухабам и булыжникам, что отзывались в моем щуплом теле каким-то мерзким дребезгом.

– Не, мне мама не разрешает.

– Фуфло! – азартно кричал он, хватал меня под мышки, взгромождал на багажник и бегом выкатывал велосипед к воротам, вскакивая в седло на ходу.

Мы заезжали бог знает на какие окраины; там он ссаживал меня на очередном пустыре, среди развалин саманных домов, поросших травой, и говорил:

– Вернись мигом, не ссы!

Возвращался, бывало, часа через два-три, наездившись до онемения конечностей...

– Давай садись, глиста! – раздраженно бросал мне. – Свадилась на мою голову!

Так однажды он бросил меня на старом мусульманском кладбище, на окраине улицы с победным названием Чемпион.

Весь учебный год через это кладбище, что карабкалось по обрыву над речкой Анхор, ходили учащиеся школы № 8. Но в каникулы там воцарялась тишь, и только сухая жара звенела над потрескавшейся глиной да из зарослей выгоревшей травы внезапно катапультировались кузнечики над полумесцами ржавых покосившихся оград.

Два забытых мавзолея горбились глиняными куполками, некогда облицованными лазурной плиткой. То ли отвалилась она, то ли кто-то отколупал, лишь осколок последней прикипел к старой глине намертво, и в окружении щетины жестких колосков на нем сидел рыжий голенастый скорпион,

подрагивая на солнце занесенным серпом членистого хвоста.

А на пригорке, в затененном шатре старой ивы, мощными корнями тянувшей воду из Анхора, оставался пяточок не опаленной солнцем травы в крапинах белой каши, среди которой пламенели три последних весенних мака.

...Я провела там весь день – видно, брат забыл обо мне и вспомнил, лишь вернувшись домой, когда бабка уже хватилась меня и, перепуганная, искала по окрестным улицам.

На кладбище она меня в конце концов и нашла. Но – не сразу.

Азиатские дремотные сумерки уже напитались зеленовато-волнистым излучением глинистой почвы. В глубокое, еще не черное, а сливовое небо поднимался прозрачный столб мерцающей мошкары.

Когда внизу, на берегу Анхора, показалась сутулая фигура бабки и послышался надрывный крик «Ма-а-амэлэ-э-э!!!» – я пребывала в зачарованном трансе, какой обрушивался на меня несколько раз в жизни. Так в ущелье из-за горных вершин на небесное око внезапно вползает мутная катаракта неизвестно откуда взявшегося облака...

Состояние это напоминает обморок, в чье игольное ушко беззвучно просачивается тонкая струйка жизни. Еще это похоже на два снимка, случайно снятые на один кадр и прорастающие друг в друга.

Механизм погружения в эту бездну можно сравнить с рас-

кручиванием карусели. Некая деталь, образ, мысль, засевшая в сознании и странно меня волнующая, служит осью, и вокруг нее, вначале неспешно покачиваясь, вразвалочку плывет окрестное пространство. Затем хоровод прихватывает бегущие рядом мысли и образы; скорость вращения увеличивается, быстрее, быстрее... вскоре все сливается в пеструю ленту, а затем и вовсе растворяется. Мир вздыхает и гаснет в жемчужном мареве, в питательной среде, способной возвращать самые причудливые фантомы...

Так пророс сквозь мое забытье далекий бабкин рев. Я лежала в плакучем шатре старой ивы, под большой лиловой прорехой вроде окна; в ней остро вспыхивали еще слабые звезды, постепенно накаляясь, роясь и кружа...

– Ма-а-а-мэлэ-э-э!

Почему я не отзывалась на этот умоляющий зов – мне до сих пор непонятно.

Продолжала тихо лежать, уплывая в звездное окно плакучей ивы, плавясь в тихой истоме блаженного полуобморока...

В конце концов бабка набрела на меня, вздернула с земли, плача и ощупывая с головы до ног.

Мы поплелись домой: она – обессиленная после стольких часов волнения и слез, я – восставшая от странного сна.

Я ничего не объясняла, да и не смогла бы объяснить, и бабка, видимо, решила, что я просто заснула там, под деревом, потому и не успела испугаться темноты и кладбищен-

ской заброшенности.

Вечером брат был истеган самолично моей мамой, явившейся после работы навестить дочь и родителей. Узнав о моем приключении, она схватила со спинки стула дедов ремень и увалисто погналась за племянником вокруг стола (она донашивала мою младшую сестру), пытаясь достать поганца. Тот ловко уворачивался, скакал по стульям, взлетал на стол, прыгивал на топчан, где долгие месяцы кротко умирал от рака дед, дразнил маму и смеялся; правда, и получал время от времени, и тогда взвизгивал, словно от удовольствия, яростно расчесывая место удара...

Но звон и шепот летнего дня и полное звезд окно в темной кроне одинокой ивы с тех пор навсегда слиты в моей памяти со старым мусульманским кладбищем...

К чему я мысленно расставляю фигуры для очередного драматического спектакля на открытой сцене моего неугомонного воображения? Словно мне предстоит рассказать о некоем волнующем событии... Вздор: ничего особо волнующего не помню. Вот только один эпизод... я назвала бы его *обратной рокировкой на круги своя*.

И это тоже было на каникулах, на летних: во двор въехал грузовик с мебелью, в кузове которого, обняв ореховый буфет без дверец, стоял мой дядька с почерневшим лицом.

Машина подползла к веранде, борта со стуком откинулись, и водитель с дядей принялись втаскивать в дом наспех связанные тяжелые узлы, из которых свисали бессильные рукава и горловины платьев и свитеров. Из кабины упруго выпрыгнул мой брат, раскрасневшийся, возбужденный, и, пока дядька молча сновал из дома к машине, принимая на спину и плечи тюки и мебель, захлебывающимся от восторга шепотом рассказывал на веранде растерянной бабке, как *papa* стоял перед *той* на коленях, умоляя остаться и простить.

— Ни хрена ему не помогло! — с торжеством приговаривал братец свистящим фальцетом. — «Умоляя-а-аю: прости и оста-а-анься»!.. Ни хрена не помогло!

Ума не приложу, за что мог просить прощения у женщины мой святой дядя, но догадываюсь, что только за сына — паскудник был невыносим. И судя по тому, с каким восторгом, обхватывая обеими руками невидимую бочку перед собой, тот демонстрировал друзьям во дворе размер «Лизкиных титек», полагаю, что та его застукала за подсматриванием. Могу только предположить, что Лиза настаивала на удалении этого оболтуса из дома, а дядя, отлично сознавая, до чего может тот докатиться без отцовского пригляда, не согласился...

Понимала ли я тогда, что на моих глазах происходит одна из тех незаметных прекрасных драм, на которые в конце пути ты оборачиваешься с благодарными слезами? Да нет, конечно. Все поистине драматические события моего дет-

ства выглядят сейчас сценами из кукольного спектакля – да детство и не умеет сопереживать иначе. В те минуты картина душераздирающего объяснения в духе индийских мелодрам, заполонивших и покоровивших Ташкент, воссияла во всю ширь мечтаний семилетней дуры, и я испытала восторг не меньший, пожалуй, чем мой окаянный брат.

Между прочим, бабка тоже любила индийские мелодрамы.

Однажды пошла со мной на дневной сеанс в кинотеатр «Тридцать лет Ленинского комсомола», на фильм «Рама и Шама», где всхлипывать начала, кажется, на титрах в начале, а в конце уже рыдала в голос. Мне странно это вспоминать: в ее характере не было ни грана сентиментальности. Вероятно, тут срабатывало некое эмоциональное сопереживание. Хотя ее насмешливый артистизм придавал всему, на что она смотрела, холодноватое отстранение: актеры вообще редко бывают сентиментальными.

И, как любой актер, она была напичкана байками и притчами – только не заемными, а почерпнутыми в собственной жизни и в жизни местечка Золотоноша. У нее и притчи об ангелах были похожи на рассказы о соседях и родственниках. Так, в детстве я много раз слышала о Самаэле и Гавриэле, лихой парочке ангелов, порученцев самой Смерти; они шлялись по миру, выглядывая подходящую дичь, каждый со своим подручным инвентарем. Такими вот баснями потче-

вала внучку моя артистичная бабка:

– Двое их, – говорила она деловито, будто обсуждала с соседкой купленную на Алайском курицу. – Двое их у нее на подхвате: ангел смерти Самаэль и ангел смерти Гавриэль. Самаэль – тот приходит за грешниками со щербатым ножом, еще и ядом отравленным. О-о-от такой секач, не дай боже! – показывала руками, как рыбак отмеряет размер пойманной рыбы. – А Гавриэль – того за праведниками посылают. Нож его отточен, остер, как бритва, на солнце сверкает. Ударит этим ножом точно в грудь – и отправит тебя прямо в рай!

– Меня?! – пугалась я. Мне тогда не очень хотелось в рай. Да и сейчас не очень хочется.

– Зачем – тебя? Ты что, мамэлэ, не дай боже... ты ж махонькая! Это я так, к примеру... К тому, что о божьем наказании надо помнить.

Кстати уж, о наказании.

В конце жизни она явила свою лютую натуру во всей блистательной полноте; можно сказать, сживала со свету родную сестру Берту. Дед к тому времени давно умер, умер и Бертин муж, любимый мой дядя Миша, а старухи все тянули упряжку несносимых генов семейства Когановских. Так вот, в конце жизни – после того как знаменитое землетрясение полностью изменило облик Ташкента и в центре его выросли районы безликих новостроек, в одном из которых мой дядька с третьей, окончательной женой получил квартиру, – обе

старухи оказались в соседних комнатах. То ли ревнуя, то ли припоминая все грехи Бертиной жизни, бабка азартно преследовала сестру где и как только могла.

– Побойся Бога! – кричал ей собственный сын, мой поста-ревший дядька, ярый приверженец советской власти и ярый безбожник, само собой. – Бога побойся!

(Увы, вся наша семья склонна к мелодекламации.)

Иногда, впрочем, он кричал что-то вроде: «Совесть имей!» – и я уже тогда в этом чувствовала снижение пафоса, как если б Шекспира на сцене заменил какой-нибудь советский драматург. Бабка с невозмутимым видом отворачивалась: она плевала на этот самый божий суд. А может, настолько была уверена в заступничестве деда Сэндера – там, откуда высылают небесного гонца с орудием казни? Может, надеялась, что во исполнение цехового братства резников дед в последний момент уломят *тамошних* заменить Самаэля с его ужасным щербатым тесаком на милосердного резника Гавриэля, дабы тот опытной рукой пронзил мою грешную бабушку сияющим ножом блаженства?..

По ее рассказам получалось, что была раньше какая-то другая жизнь. Бабка училась в гимназии целых три года, как ни крутите, и влюбленный художник писал с нее «портрэт». Странно, думала я, почему жизнь так изменилась? Куда делись все эти изящные длинные платья, все эти томные позы, романтические венецианские окна, пусть и нарисованные?

Где туфельки с медными пряжками? Где, наконец, ее, моей бабушки Рахили, холеные ручки? Уж их-то не могла «украсть» никакая революция...

Оказывается, могла и украла.

Впрочем, в детстве мне позволялось открывать большой скрипучий шифоньер с зеркалом, развязывать тюк из старой простыни и копошиться там, в темной пахучей утробе (крахмал, нафталин, затхлая шерсть и сухо скрипящий крепдешин), перебирая «шматэс». Там я откопала черную лаковую сумочку – «клатч», настоящие лайковые, с двумя дырками на указательных пальцах, перчатки, три ветхих воздушных, крючком вывязанных воротничка, а также множество бархатных, меховых и крепдешиновых обрезков.

Но что с детства было предметом моих вожелений, так это бабушкина шкатулка с пуговицами, обклеенная настоящими морскими ракушками разной величины – горбатенькими, ребристыми ладошками, каждая наособицу, каждая своего цвета, от молочного до пурпурного, – как и пуговицы, что в ней хранились. Я откидывала ребристую крышку, выбирала самую большую перламутровую пуговицу, с блестящим стеклышком посередке, и спрашивала:

– А эта от чего?

И бабушка сочиняла очередную историю из серии «у нас в Золотоноше»; и поскольку я не умела и не хотела шить, штопать, вышивать и вообще возиться с мерзкой кусачей иглой и нудной ниткой, вечно выпадающей из игольного ушка, ис-

тория была, конечно, о нерадивой дочке тамошнего «почтателя» или фельдшера, об избалованной дочке, которая иголку в руках удержать не могла и пуговицы пришивать чуралась, а потому папаша каждый месяц привозил из Полтавы дюжину новых пуговиц, старые-то повисят-повисят на нитке, да и потеряются... И вот однажды посватался к ней человек удачный, *уважительный* и самостоятельный, из Фастова. Папаша обрадовался и по такому случаю решил заказать одному такому-некому художнику дочкин *портрет*, чтоб она – в красивом жакете с перламутровыми пуговицами...

Стоп! А между прочим: что же в конце концов стало с *нашим* портретом?

Да ничего, в сущности. Стоял на комодке, потом сгинул вместе с изрядной половиной семьи – обычная присказка рутинных трагедий моего народа в середине двадцатого века.

Но между тем утром, когда моя восемнадцатилетняя бабушка Рахиль, еще не *вытанцованная* моим дедом Сэндером, сидела на стуле и послушно смотрела туда, куда просил ее смотреть художник (на угол зеркала, где солнечный луч высекал снопы радужных игл), – так вот, между тем утром и бездной войны, эвакуации, нищеты и убожества послевоенной советской жизни произошло, как выясняется, кое-что еще.

Кое-какой эпизод...

Однажды, припомнила мама, классе в пятом она вернулась из школы, и в комнате за круглым столом сидела ее мать

Рахиль, а напротив какой-то дяденька, торопливо вытиравший обеими ладонями лицо. И хотя он отворачивался и даже не кивнул на звонкое мамино «Здрасте!» – мама, девочка и в те годы приметливая, поняла, что дяденька плакал. А потом он ушел, чуть ли не бегом, даже не обернувшись на очень задумчивую мою бабуку.

– Думаю, это он и был. Из Харькова приехал, перед своей свадьбой – в последний раз на нее поглядеть. А не женился-то, прикинь, сколько лет?

– Художник?! – ахаю я.

– Да какой художник, – отмахивается мама. – Он в те годы уже не был никаким художником. Тогда разве до баловства людям было. Он был главным технологом на каком-то крупном швейном предприятии – так Маня потом рассказывала, а Маня, их младшенькая, ох, та была наблюда-а-ательная... Пстой! – Мама шлепает себя по коленям. – А вот пальто же, пальто, а?!

– Какое еще пальто?

– Ну, пальто ж ее – роскошное, шевиотовое, воротник норковый... ах ты господи, ведь это он ей привез, а? Я ведь теперь только поняла: привез тогда ей в подарок. Ну, как же! Откуда еще могло такое у нас взяться? Она, конечно, деду-то легенду сочинила – это ей было раз плюнуть. Но так, если подумать... больше неоткуда. Главный технолог предприятия, он это пальто ей, должно быть, спецзаказом провел... Да ты что, балда, не помнишь наше знаменитое семейное пальто?!

Как же такого не помнить, когда бабкино пальто – действительно роскошное, сшитое по каким-то заграничным лекалам, – сопровождало меня чуть не половину моей жизни. Вернее, прожив половину *своей* жизни, оно словно бы догнало меня на середине собственного пути, и далее мы существовали рядом. Сначала много лет его носила бабка – тогда еще высокая, статная, – и шоколадного цвета шевиот облегал ее фигуру так зазывно, что... (Тут опять мама: «Да на нее оборачивались!» Я: «Ты говорила – на пляже оборачивались». Мама: «И на пляже, и в пальто! Мужской глаз знаешь как цепляет!»)

Короче, бабка носила пальто до войны и в эвакуацию – вернее, в три эвакуации – на Кавказ, в Казахстан и, наконец, в Ташкент – пальто с собой потащила и, что удивительней всего, сохранила. Не продала, не обменяла на продукты даже в самые тяжелые военные зимы. Затем, в пятьдесят втором, когда поженились мои родители, пальто торжественно перешили маме – это был царский свадебный подарок: в то время такое пальто, говорит мама, уверяю тебя, совсем не на каждой даме было...

И мама, на которой пальто сидело *умопомрачительно элегантно* (каждая эпоха награждает свои ценности собственными эпитетами), тоже носила его ой-ёй-ёй сколько лет, пока, основательно его перелицевав, не сшила мне (кажется, классе в шестом) миленькую курточку до колен, выкроив из

лысоватого воротника дивные обшлага на рукава. И я бы носила эту курточку с удовольствием, если б не все тот же двоюродный братец, который с поразительным упорством дразнил меня «полупердином», когда я ее надевала.

А на закате биографии – увы, столь частый удел многих блистательных биографий – роскошный шевиот отправился на хозяйство: из курточки сшили Дуню – ватную бабу с целлулоидной головой моей старой куклы, под которой грели обед. Просторное шевиотовое брюхо, подбитое ватином, хранило нутряное тепло вареной картошки, макарон по-флотски, а чаще всего гречневой каши – любимого блюда нашей семьи.

Вот тут о гречке. И о бабке...

В детстве я бесчисленное количество раз наблюдала, как моя бабка моет гречку. Сначала разбирала ее, сидя за столом на высоком, чрезвычайно неудобном табурете (ноги болтаются, спина согнута колесом), вылавливала щепочки, откатывала пальцем крошечные камушки, отсортировывала черные крупинки, наконец, ребром пригоршни скатывала горстку в частый сетчатый дуршлаг. Затем отобранную гречу принималась мыть, и мыла, и мыла, и мыла под сильной бесконечной струей...

Вбегая со двора на кухню, я говорила:

– Ба, ну ты здесь водопад погнала!

Она неизменно отвечала одной и той же притчей. Распев-

ным тоном, громко, перепевая шум воды:

– Вот собрался жениться самый богатый холостяк местечка. И пошли сваты по домам. Везде один и тот же вопрос девушке задавали: «Ты сколько раз гречку моешь?» Одна отвечала: «Трижды мою». Другая, аккуратистка, хозяйюшка, отвечала: «Аж пять!» Наконец, приходят в совсем бедный дом, выходит пичужка – смотреть не на что... «Сколько раз ты, милая, гречку моешь?» Поглядела она на них ясными глазами и говорит: «Пока чистой не станет». «От эту берем!» – закричали сваты...

Думаю, бабка с ее притчами и историями типа «Иду я вчера, а мне навстречу...» – она и была первым для меня ненавязчивым консультантом по стилю. Иногда меня не устраивали какие-то сюжетные подтасовки, я внутренне восстаивала, пыталась уличить ее в стилистических натяжках:

– Почему у третьей – ясные глазки? – упрямо уточняла. – Она их тоже долго мыла?

– Та не, – легко отзывалась бабка. – Так оно к слову пришло.

Иногда мне хотелось сделать назло, сломать лилейный и ханжеский образ притчи. И в другой раз (бабка была способна невозмутимо пересказывать одно и то же хоть и каждый день) на словах «выходит пичужка, смотреть не на что...» я мерзким голосом выкрикивала:

– Выходит лохматая, грязная, хромая, картавая: «Я тут вашу духацкую гхэчку мою, мою, мою весь день, потому что я

– ду-у-ха!»

Довольно часто, когда мне хотелось ее довести, я принималась хохотать, как безумная, над каждым ее словом.

Тогда она значительно говорила:

– Есть два типа женского лица: «Подойди ко мне!» и «Отойди от меня!»...

И сразу становилось ясно, какой тип женского лица я в данный момент представляю.

Если же я упорствовала в своем идиотском хохоте, не умолкая, сама от себя заражаясь щекотливым всхлипывающим весельем, она укоризненно произносила на идише:

– Отец, ты смеешься? Горе твоему смеху...

Почему никогда не пришло мне в голову выяснить, отчего это она обращается ко мне словом «отец»? Из какой высокой трагедии взяты эти слова? И *какой* отец имеется тут в виду... Все то же глазастое, но равнодушное детство: ведь мир принадлежит тебе одному и вращается вокруг тебя со всеми своими людьми, словечками, поговорками, чудесами, и так оно и должно быть, и будет так всегда...

Идиш я понимала. Не все, но общий смысл. На идише бабушка говорила только с дедом и мамой. Когда они усаживались делать пирожки с капустой или с яйцом или принимались шить, штопать – мягкая гортанная речь перелетала от одной к другой где-то над моей макушкой, едва касаясь сознания... Если дважды со вздохом повторялось *цим ломп* – «до лам-

пы», – можно было быть уверенной, что речь идет обо мне; бабка любила приговаривать, что *этой упрямой козе* все «до лампочки». И, по сути дела, это было правдой: я росла девочкой, замкнутой в своем мире. Да такой, собственно, и осталась – если принять во внимание скуку, что неизбежно охватывает меня в любом общественном действе, в самом интересном месте спектакля, в гуще всевозможных презентаций, фуршетов и прочей маэты...

Иногда на меня накатывало желание покрутиться возле нее на кухне, послушать еще какую-нибудь историю, поучаствовать в приготовлении мацы, которую бабка не покупала, а всегда выпекала на Пасху сама. Это были тонко раскатанные круглые пластины пресного теста, которые она протыкала вилкой – «чтоб дышало». Если я хорошо себя вела, мне поручалось «тыкать».

– Натычь, – говорила бабка, вручая мне тяжелую вилку, и, схватив ее в кулак – так убийца хватает нож, – я, остервенело оскалившись, быстро-быстро всаживала все четыре зубца в кругло раскатанный блин, усеивая его множеством ранок.

(Такую мацу лет сорок спустя я видела на иллюстрации к старинной испанской пасхальной *агаде*. Значит, испанские кумушки пятнадцатого века мацу готовили в точности как моя бабка...)

Когда мы с нею «работали», между нами возникало теплое чувство совместного деятельного усилия. Если ей каза-

лось, что я мухлюю, она, глядя в окно на хлопотливую тополиную листву, меланхолично произносила длинную фразу на идише, которую сама тут же и переводила эпическим полунапевом: «Небо и земля клялись, что тайн на свете не бывает».

– Каких еще тайн? – подозрительно уточняла я.

– Та я к слову, – невинно отзывалась хитрая бабка.

С нею ловко было работать – уютно, ладно, споро... Недалеко от кондитерской фабрики своего отца, а моего прадеда Пинхуса Когановского Рахиль была лучшей заворотчицей. Вот надо же, чуть не забыла: ведь моя бабка на старости лет стала *стахановкой*! Перед войной ее, вечную домохозяйку (дед Сэндер считал, что женщина должна сидеть дома и растить детей), сестра Вера, впоследствии расстрелянная в очередном рву под Полтавой, решила устроить на местную кондитерскую фабрику, где сама работала бухгалтером. «Будет тебе *черта смолить*, – говорила она, – дети выросли, хозяйство невеликое. А тут все же общество, и подработает».

Когда начальник цеха увидел *новенькую* – женщину немолодую и дородную, – он сказал Вере:

– Ты что, Верпетровна! Ты б еще инвалида какого приволокла... Мне ж ее год учить, не меньше. Не-е... в нашем деле молодая сноровка нужна...

– А разрешите к столу присесть? – спросила бабка и, уже не обращая внимания на начальника цеха, села в ряду мастериц-заворотчиц и принялась за дело. Через минуту вокруг

нее собрался весь цех. Люди глаз не могли оторвать от едва заметной ювелирной точности и феноменальной скорости, с которой полные руки этой женщины совершали множество молниеносных движений.

Так вот, бабкины притчи. Все они были из разряда про *живую жизнь*. Рассказывала она как бы между прочим, неторопливо, закрывая пельмешки, заворачивая голубцы, раскатывая скалкой круг теста или уминая ложкой фарш в пустое нутро болгарского перца. Но в тот момент, когда должна быть произнесена ключевая реплика, приостанавливалась. Вот кто умел держать паузы – так это моя бабушка. Системы Станиславского она не знала. Но оторвать взгляд от движения ее бровей, губ и глаз было невозможно:

– У нас в Золотоноше семья жила, аптекой владели... Всем там заправляла мамаша – грозная старуха была, скупая. Кухарки у них не было, мамаша сама кухарила. И требовала, чтоб вечером вся семья за ужином собиралась. Самолично каждому в тарелку клала кусок мяса из борща. Однажды сын – так получилось – приходит домой пораньше. Ищет мать... в комнатах нет, во дворе нет... Заглянул на кухню – а там сидит его мамаша, выловила из борща лучшие куски мяса, полную тарелку себе наложила и уплетает за обе щеки. «Что вы делаете, маман?» – спрашивает сын, вытаращив глаза. «Что я делаю? – отвечает та. – Я кормлю вам вашу мать!»

Это – при нарочитой скупости жестов – всегда была точно

разыгранная сценка. Неприятно удивленный сын, заставший мать за поеданием лучших кусков, и – легкое движение бровей, усмешка, пожатие плеч – великолепный апломб невозмутимой старухи. Одна картинка сменяла другую, и, бывало, за приготовлением пирожков бабка умудрялась развернуть передо мной целый ряд сцен и анекдотов из жизни дореволюционного местечка. Иногда та или другая история возникала на почве раздора, когда, к примеру, мне предлагалось вымыть посуду, а я бесстыдно отлынивала.

– Женское лицо... – начинала она.

– Знаю, знаю! – огрызалась я. – Бывает двух типов: отойди-подойди!

– Та я ж не о том, – покладисто отзывалась бабка. – Я о жизни. Бывает, повезло девушке: родилась она ладненькая, да красивая, да с характером... Но счастье совсем не этим приманивают.

– А чем? Чем?!

– У нас в Золотоноше семья жила, люди серьезные, состоятельные... Он был закупщик, деловой такой мужчина, со *средствами*; жена шила наряды аж в Киеве. Дочь у них была одна, и такая, скажу тебе, дочка... ой-ёй-ёй! И вот к ней посватался один из Сатанова. Тоже не бедный: компаньон отца по торговым делам. Не очень молодой, но так, в возрасте и еще в силе. Свадьба была – дым коромыслом. Петарды в небо пуляли, аж на дальних лугах было видно, как днем. Ну, отпраздновали, и отбыли молодые в Сатанов... Проходит неде-

ля, другая... никаких оттуда вестей. Молчок, тишина... То-о-олько мамаша с папашей наладились в гости к дочери – как там, *эр зугт*, наша дочка хозяйюшкой в доме живет? – как однажды утречком едет издали телега, со стороны Сатанова. Ме-е-е-едленно едет, потому как гружена доверху. А за телегой мальчишки бегут – гвалт, шум, свист... Соседи выглядывают в окна и видят: правит телегой зять...

– Компаньон? В возрасте и силе?

– Ну да... Правит зять телегой, а за ним сидит понурая молодая. А позади – гора немытой посуды! Чашки, тарелки, супница в лиловый цветочек...

– Потому телега медленно ехала? Чтоб не разбить?

– Ну да. Ты слушай, слушай. Для тебя рассказываю... Приближается этот *кортэж* к дому... останавливается... И на глазах оторопевших родителей зять ссаживает молодую. Принимайте, *эр зугт*, свое сокровище, а заодно и все ее приданое. Ни одной чашки, *эр зугт*, за три недели она не помыла. Кончался один сервиз – ели на другом. А теперь, *эр зугт*, сервизы кончились, и таки закончилась моя семейная жизнь...

Лицо ее при этом сохраняло невинное и даже особо доверчивое выражение, но при этом она, якобы украдкой, поглядывала в сторону таза, полного грязной посуды.

– А-а-а! – вопила я. – Ты все врешь! Это ты придумала! Супница в лиловый цветочек! Придумала!

– Как такое можно придумать, – укоризненно отзывалась

она. – Это же не книжка, это *живая жизнь*...

«Живая жизнь», которую моя бабка так любила расцвечивать своими историями, остается неизменной, даже когда заканчивается.

Бабкина долгая цепкая жизнь закончилась без меня – я в то время жила в Москве и о том, как поживает моя «заядлая бабка», узнавала из маминых звонков. В последние годы бабка сидела в кресле, ноги отказали, но память и ясный ум не оставили ее до самого конца.

– Ты что на завтрак приготовишь? – спрашивала она уже немолодую мою маму, которая добиралась к ней каждый день двумя трамваями.

– Оладушек нажарю...

– Оладушки были вчера.

– Может, овсянку сварить?

– Овсянка позавчера была... У тебя что, фантазии не хватает? У нас в Золотоноше семья жила, так их ленивая прислуга наладилась каждый божий день жарить драники с лучком... И все драники и драники: в понедельник – драники, и во вторник – драники, и в среду...

Это было тяжелое время, когда я решала самую трудную задачу своей жизни, извечную задачу моего народа по возвращению на круги своя, – большую рокировку на пути преодоления Синайской пустыни.

В один из предотъездных вечеров позвонила мама и за-

плаканным, но освобожденным голосом проговорила:

– Бабушку похоронили... Вот смерть! Во сне ушла... Кто угодно позавидует.

Выходит, подумала я тогда, дед Сэндер все-таки выхлопотал для своей Рухэлэ легкую участь – там, где усердно правит нож его коллега по цеху резников ангел смерти Гавриэль.

– Грешно сказать, – добавила мама со вздохом, – но она будто подорожную нам выписала. Давай, диктуй по пунктам – с чего начинать там, в этом ОВИРе?

В те дни и недели, одолевая предотъездный морок, я слишком была взвинчена, слишком измучена переживаниями, слишком яростно боролась в каждой ночи с собственным ангелом, пытаясь вырваться из тисков сомнений и страха; и в то же время слишком была устремлена в неизвестное, обмирая от мысли, что неверным решением могу погубить всю семью...

Кончина девяностопятилетней бабки в эти дни ощущалась мною как всеобщее освобождение: так вол, нагруженный жестокосердным хозяином, сбросив со спины один из тяжелых тюков, легче ступает по краю пропасти...

Думать о ней, о ее жизни я стала совсем недавно... Возможно, потому, что состарилась мама и вдруг сквозь ее совсем иные родовые черты стала проступать бабкина мимика, ее вздергивание брови, ее морщинистая усмешка... А мо-

жет, потому, что повзрослела моя дочь и стала напоминать юную бабуку на той допотопной фотографии. Бывает, сидим за субботним ужином, и принимается она рассказывать что-то смешное из своей археологической практики: все те же развалины, библейская скала, обломки колонн, — а я глаз не могу оторвать от ее взлетающих рук. Впрочем, любовь к дочери — дело нехитрое.

И все-таки что заставляет меня столь настойчиво думать о бабушке?

Я пытаюсь осмыслить страшное несоответствие между опущенными ей при рождении дарами-талантами и тусклой, ничем не примечательной судьбой домохозяйки. О ее жизни, выброшенной на ветер; о неудаче творца, о разбазаривании такого богатого материала. Что случилось там, наверху, в момент, когда перл человеческий вышел на орбиту Судьбы? Чего не учли, что не доделали в высочайшем отделе кадров и кто из ответственных лиц так напортачил?.. Другими словами: как умудрились бездумно *запороть такой объект?*..

— Помнишь, какой она была рассказчицей? — спрашиваю я маму.

— Я тебя умоляю, — отзывается та. — Что такого бабушка могла рассказать? Историю из трамвая?

— Ты что?! — кричу я с досадой. — Не помнишь ее монологов?! Она ведь сама сочиняла текст, когда изображала людей. Да в ней умерла великая актриса и, может быть, замечательный писатель!

– Ты домосливаешь... Творческое воображение. Вот когда я объясняла урок на тему «Убийство императора Павла Первого» и описывала, как...

Ну да, да, это правда: когда мама описывала, как, заслышав шаги убийц на лестнице, Павел вскочил с кровати и спрятался в камине... «Но экран камина не мог скрыть его ноги, – торопливо-взволнованно продолжала мама, простирая руку в угол, – и едва взошла луна, осветив эти бледные полудетские ступни – там, там, в углу комнаты!..» В этом месте весь класс, как по команде, вставал и заворуженно глядел в пустой угол аудитории.

– И все-таки, – не успокаиваюсь я. – Если б она вышла замуж не за деда Сэндера, а за того художника и он увез бы ее, скажем, в...

– Он увез бы ее в Харьков, где она точно так же родила бы двоих детей, и мыла гречку, и раскатывала мацу. Не тешь себя иллюзиями. Это просто в ней артистическая жилка билась, как во всех нас. Вспомни: когда ты выступаешь, кто-нибудь из публики обязательно спрашивает, какой театральный институт ты окончила.

И это, что уж там скрывать, – правда...

А живая жизнь все длится, обнаруживая удивительные переключки нрава и повадок через поколения. Персонажи бабкиных притч все в конце концов оказываются мною, лично мною – к моей досаде или насмешке.

Вот как я мою гречку. Завершив работу над рукописью к обговоренной дате, я тяну и тяну, не в силах с ней расстаться. Там заменяю одно слово на другое, подумаю и верну прежнее; там вместо точки поставлю запятую, сотру и заменяю многоточием. Ведь *живая жизнь* из всех знаков препинания в финале предпочитает именно многоточие.

Недавно, читая сборник притч и рассказов о Беште – великом Баал-Шем-Тове, мудреце, каббалисте и хасидском мистике XVIII века, что жил неподалеку от бабкиных мест, в украинском местечке Меджибож, – я с удивленной радостью встречала бабкины притчи. Не в точности ее истории, другие, но это был все тот же извод на тему: «Однажды идет он, а навстречу...» или «Жил у нас в Сатанове один мужчина...». А то и так: «Женился он на другой, и родила ему та двух сыновей. И не знаю, близнецов ли или же одного за другим...»

Это была все та же поучительная, обстоятельная библейская телесность, та же конкретность деталей в сочетании с мистическими высотами сияющих чудес.

Целый мир, целый огромный мир парил там над землей, не улетаая, однако, ввысь, но и не растворяясь в воздухе, а протягивая крепкие нити между землей и небом, как бы втолковывая всем нам, что не может быть одного без другого и что *небо и земля клялись: тайн на свете не бывает...*

Кто только не населял мир этих притч, кто только не клу- бился, сталкиваясь, переплетаясь и дивясь один другому!

Там лихие ангелы входили в дом к бедняку, просясь на ночлег, там усердно, будто золотой песок, хозяйюшки мыли гречку до небесной чистоты житейских помыслов, там бродяги и *лэйдегееры* смолили на продажу отборных чертей; там милосердный резник Гавриэль вонзал блаженный нож в иссохшую грудь нищего праведника, отпуская в полет его истомленную душу...

Но вот что интересно мне сейчас: всего три года обитали в домике на Кашгарке мои дед с бабкой, всего несколько каникулярных недель я у них провела и, в сущности, мало что помню: узбекское кладбище на взгорке, последний лоскут последнего майского мака под ветерком; бегущего по засохшей глине скорпиона, старую иву с лиловым окном-проухой в текучей кроне...

Почему же отсюда, с моих нынешних, совсем иных географических и временных горок, именно этот домик с верандой кажется мне цитаделью спокойствия и любви в сердцевине беспокойного детства? Почему не могу я забыть бинты, змеящиеся по полу, сизые культы еще живого деда и то окно, исполненное листвы или застывших ледяных картин?

Почему до сих пор манит меня огненный мотылек скудеющей свечи в том давнем, почти неразличимом окне, где все еще трепещет птичьими крыльями заполошенная листва начала моей жизни?

Начала жизни, которой не будет конца...

*Ты смеешься, Отец? Ты – смеешься?
Горе твоему смеху...*

Июнь 2011 г.

Цыганка

Вот наконец я дорвалась.

Сейчас напишу об этой цыганке, о прапрабабке своей, о которой понятия не имела, но однажды услышала краем уха о себе: «Тс-сыганская кровь!» – отцом оброненное, после очередного моего побега из школы.

Позже вытянула из матери – чуть не клещами – куцую фамильную историю, да мать и сама ее плохо знала.

Бабка же на мои домогательства неизменно отвечала: «Что ты, мамэле, какая такая цыганка?! – Хоть и сидела уже в инвалидном кресле, кремень старуха была, характер адский и голова ясная. Оберегала семейную чистокровность. – Какая такая цыганка?!»

С детства я уже чувствовала ее – и пресловутую кровь, и саму эту тень за моим затылком.

Проявлялось ее вмешательство в мою жизнь не сразу, но убийственно надежно. Возможно, поэтому – так мне кажется сейчас, когда все более или менее прояснилось, – если обижали, я вела себя незлобиво, обиду принимала, то есть не отвечала на нее, на обиду, – будто знала, что накажут и без меня.

Наказывали страшно. Убедительно. Когда разрозненные события, пугающе повторяясь, стали выстраиваться в некий

зловещий ряд – я оробела. Оробела той огромной смиренной робостью пред высшими силами, которые не приемлют ни заступничества за виноватых, ни мольбы о пощаде, а требуют лишь склоненной головы и немоты.

Потом уже, задним умом или, как говаривала бабка, задней памятью, я вспоминала все переломанные руки-ноги своих дворовых и школьных обидчиков: тот мне пенделя отвесил, другой уже сильнее побил, а этот из игры выгнал или денежку в школьном буфете отобрал, а вон тот гонял мою шапку по грязному асфальту вместо футбольного мяча...

Приходило это недели через две-три:

– Никольский?

– Здесь!

– Оганесян?

– Здесь!

– Рахматуллаева?

– Здесь!

– Сумашин?

Тишина...

– Сумашин здесь?

– Сумашин руку вчера сломал, Наталья Михална!

Я не злорадствовала – наоборот, внутренне ахала, обми-
рала... Страшной была моя тайна.

В пятом классе балбес-переросток Мишка Петруненко подстерег меня на велосипеде за школой, наехал сзади и, когда я свалилась в кусты мальвы, соскочил с седла, несколько

раз больно ущипнул меня за грудь, которая и без того все время болела, и, визгливо хихикая, умчался в стрекотании спиц.

Я неделю не ходила в школу. Просто не ходила. Ноги в ту сторону не шли.

Через неделю Мишка разбился на велосипеде. Три месяца лежал в больнице, еле выкарабкался, но рука – преступная, правая! – так и не восстановила подвижность.

Поскольку бога не было – в те годы не было бога, – в детстве я молилась д'Артаньяну, возлюбленному, совершенно уверенная, что он внимает мне с какого-нибудь облака, подкручивая мушкетерский ус.

– Д'Артаньяша, – молилась я, захлебываясь ужасом и слезами, – не надо больше, не надо! Это было не так уж больно, только стыдно, ничего, я уже не чувствую, и синяки прошли!

Понимала непомерность расплаты. И чуяла, что мушкетер там – сошка легкомысленная. Чуяла: наказывают не за копеечную боль и не за жгучий стыд. Наказывают за причиненное зло. Кто, кто, кто-о-о?! – вот что меня парализовало. Грозная тень за моим затылком – не хранителя, нет. Наказывателя обидчиков.

Самое же страшное пришло, когда со взрослением сменились обиды.

Помню первое жертвоприношение. Не нога, не рука... Жизнь человека! Целиком, окончательно, страшно – и без-

жалостно связано со мной.

Он был толстым, обычным пожилым нацкадром. Сколько я их перевидала, за скольких написала степные кишлачные саги любви – смешно и тошно вспоминать. Но этот был первым. Возможно, человек и неплохой, но растленный советской властью до наглой нирваны. За него уже написали диплом и диссертацию, а теперь он хотел считаться и писателем на всякий случай, в подражание тогда еще здравствующему хозяину республики. Тот тоже писал книги. На Востоке это бывает: сатрапы сочиняют поэмы...

Сосватал нас мой приятель, редактор издательства «Гафура Гуляма». И творец воодушевленно приволок дежурную повесть о семи печатных листах, о любви и борьбе за землю, политую слезами и потом дехкан (эти два мотива чаще, чем другие, кочевали рука об руку из одного произведения узбекской советской классики в другое).

До сих пор нацкадра обслуживали белые рабы мужского пола. Вероятно, при виде меня он решил, что на сей раз возделывание литературной плантации будет включать и кое-какую дополнительную мою повинность.

Я тоже была воодушевлена, но по другой причине. После долгого застоя в заработках на меня свалился приличный кусок честной халтуры. За такую пахоту обычный гонорар был – рублей пятьдесят за лист. Я ликовала, умножая пятьдесят на семь. На эти деньги я собиралась вывезти к морю трехлетнего сына. Всю зиму перед сном описывала ему волны,

песочек, дельфинов, обещала заплыть далеко-далеко, только я да он у меня на спине.

Когда «перевод» был готов, мы встретились с заказчиком на станции метро, и с радостным облегчением я вручила ему толстую папку с готовой рукописью.

– Динкя-хон, – проговорил он, ласково на меня глядя, – ти Гагра морь любишь?

– Очень люблю. – Я вежливо улыбнулась, ожидая, когда он наконец нырнет ковшиком ладони во внутренний карман пиджака, вытащит конверт и мы расстанемся к обоюдному удовольствию до следующего его «произведения». О любви. И о борьбе дехкан за землю.

– Я тебе к морь повезу... – мягко продолжал он, не сводя с меня уже по-хозяйски щупающего взгляда. – Поезд-билет куплю, койка санаторий плачу... Зачем тебе денгя? Вместы со мной Гагра едишь...

С минуту я еще стояла, удерживая на губах беспомощную улыбку – не могла поверить, что так обидели. Затем повернулась и пошла... Сквозь пелену слез, помню, дороги не различала и на выходе из метро споткнулась и разбила коленку о ступени.

Через две недели позвонил редактор и сокрушенно сообщил, что «наш общий друг» утонул вчера в Гаграх. В первый же день отдыха. Представляешь? Заселился в номер, вышел на пляж, подтянул трусы, бодро побежал в воду... И назад

не вернулся.

Я оледенела от ужаса. Дней пять бродила как чумная. Оглядывалась, когда заходила в подъезд. Избегала смотреть на себя в зеркало...

Куда бежать? В милицию? И что там говорить?

Несколько дней спала, укрытая с головой одеялом, свернувшись, как эмбрион.

Но постепенно распрямилась...

Я решила сопротивляться. Как библейский Иаков, боролась во тьме. Своеобразной была эта борьба: неделями я не выходила из дому, уклонялась от встреч с кем бы то ни было, дабы не провоцировать. Плакала ночами, уговаривала неизвестно кого... Вела бесконечные диалоги черт его знает с кем. А когда все же оказывалась на улице, прошмыгивала мимо знакомых, опустив глаза. Теперь я знала, что чувствуют прокаженные.

В считанные месяцы я превратилась в законченного невротика и однажды не вынесла одиночества тайны и рассказала обо всем приятелю – поэту, алкашу, славному парню.

Дело происходило на террасе летнего кафе, одной из тех ташкентских забегаловок середины семидесятых, где днем можно было недорого пообедать, а вечером отведать этих же блюд, но уже суточной свежести и по иным, более уважительным ценам.

Приятель был нетрезв, я мрачно оживлена, поскольку впервые за два месяца решилась выйти из дому. В зале гремела музыка ансамбля «Ялла», на столик то и дело наваливались терявшие равновесие потные пары; наша общая подруга, актриса, праздновала свой третий удачный развод.

Пусть, подумала я, даже интересно – какотреагирует. В крайнем случае, скажу, что приснилось с бодуна.

Он выслушал спокойно, со вниманием, насколько можно было это внимание собрать после энной рюмки. Подлил еще вина себе и мне. Помолчал.

– Так ты присмотренная, – сказал он просто, – вот и все. Дело известное.

– Кому – известное? – напряженно спросила я, будто разговаривала с чиновником небольшого ранга, но все же из той, небесной канцелярии, и папка с моим личным делом стояла за его спиной в шкафу или где там их хранят, эти папки... И ему стоило только руку протянуть, чтоб полистать и разобраться. И все уладить наконец, к чертовой матери! – Вообще, что это значит?

– А то и значит: присматривают за тобой.

– В смысле... Оберегают?

– Да нет, старуха, кой там черт – оберегают! Наоборот. Через тебя учат... Понимаешь?

– Нет, не понимаю!

Я заволновалась. Даже разнервничалась.

– Ну вот смотри... Там, сверху-то... – Он опрокинул над

своей рюмкой опустевшую бутылку и две-три секунды ее потряхивал, как верующий в надежде на чудо. – Ты представляешь, каково это – за каждым наблюдать? Это ж... рехнуть-ся можно, сколько времени и сил, да сыт... сотрудников требуется... Тогда они...

– Кто они?! – закричала я сквозь гремучий шейк.

В те годы, как и сейчас, впрочем, я не имела четкого представления об иерархии высших сил – да и кто его имеет-то, сказать по совести, – но все же подозревала, что ни время, ни число... сотрудников большой проблемы там, наверху, не составляют.

– Какая разница. – Он икнул, отодвигая локтем чью-то назойливую задницу, что вращалась под музыку так, словно обладательница ее трудолюбиво вкручивала штопор в бутылку. – Ты спросила, я отвечаю. Мне лет двадцать назад этот ме... ханизм объясняла одна старая армянка... Она чудно гадала и с покойниками разговаривала, как мы с тобой сейчас. Так вот, она сказала: выбираются отдельные э-э-э... объекты. Вроде подсадной утки, извини... И уж за вами – строжайший глаз да гла-а-аз! Типа глазок в тюремной камере... Вам без конвоя даже по нужде не выйти. Но зато всем гадам, кто тебе подосрет, бошки-то поотрывают, все-е-ем! Урок такой, понимаешь? «Анатомия доктора Тюльпа»! – Он расхохотался своей остроте и, уже тускнея глазами, добавил: – Мастер-класс потусторонних сил...

Неплохая перспектива, уныло подумала я, – всю жизнь

быть учебным пособием для злодеев. Да нет, что за чепуха! Мало ли что несет этот алкоголик!

Но разговор запомнила дословно, тем более что впоследствии правота моего нетрезвого собеседника подтверждалась с регулярностью ужасающей. Да, я была подсадной уткой, черт побери! На мне бессмертные души учились умуразуму: сдавали зачеты и курсовые, получали переэкзаменовки, взыскания, а в особо запущенных случаях бывали отчислены из этого высшего – пожалуй, наивысшего – учебного заведения.

Иногда, по тоскливому предчувствию определяя очередную «несдачу зачета», я пыталась предупредить возможных фигурантов осторожными намеками. Меня понимали неправильно, усмехались, озлоблялись, даже не догадываясь, что озабочена я отнюдь не своим благополучием. Отнюдь.

Дошло до того, что с известными хамами я начинала беседу заискивающим тоном – на всякий случай, чтобы, упаси боже...

Увы. Они сами разыскивали меня, как летом в пустом здании школы восьмиклассники ищут дежурного преподавателя, чтобы сдать ему «хвост» по геометрии.

Нет сил пересказывать ряд эпизодов. К тому же я не совсем уверена, что за пересказ – как и вообще за эту новеллу – меня по головке погладят.

Однако вернусь к цыганке.

В девяностом, перед самым отъездом в Иерусалим, я оказалась в родном городе. Надо было помочь родителям собраться, как-то разгрести завалы целой жизни в преддверии нового переселения в иные земли.

В тот суматошный приезд, выклянчивая на задах окрестных продмагов пустые картонные ящики для упаковки-утрамбовки багажа, невнимательно листая альбомы со старыми фотографиями, которые не видела много лет, и бегло проглядывая старые письма, я наткнулась на карточку – из тех, коричневых, «дореволюционных», которые поражают добротной выделкой давно минувших лиц, добросовестной передачей бликов на запонках, булавах, ручках кресел и носках туфель, что выглядывают из-под клетчатых юбок со складками скульптурной осязаемости.

На карточке в таком вот кресле, в такой вот юбке сидела я. Волосы, правда, разделены пробором и собраны в узел.

Смутно я помнила эту карточку, в детстве она не раз попадалась мне на глаза, и никогда в этой женщине средних лет я себя не опознавала. Ясно, почему. Ну а сейчас, видно, самое время опознать и пришло.

На пожелтевшем обороте между жирных и чернильных пятен с трудом я разобрала беглую с ятями надпись: «На добрую память дяде Моисею и тете Кларе от вашей „Ди Цыгайнерс“. Берегите! с поцелуями, любящая вас...» – завитки и прочерки...

– Ма-ам! Что за баба тут на карточке с моим лицом?

Мама вышла из кухни, вытирая руки полотенцем, надела очки.

– А! Действительно. Очень похожа! Это же сестра твоего деда, она умерла от тифа году в... Тридцать втором... Рива. Или Нюся? Нет, Нюсю же немцы расстреляли. Рива, да.

– А почему «Ди Цыгайнерс»?

Мама замялась.

– Да их всю семью вообще звали цыганами... По той их бабке, я когда-то тебе рассказывала.

– Ну-ка, ну-ка...

– Отец... да нет, постой... не отец, а дед твоего деда, моего папы... значит, как это тебе – прапрадед, да? Точно. Он привез с ярмарки цыганку. Перед свадьбой поехал выбирать подарки своей невесте. Все они, представь, рыжие, конопатые украинские евреи, крепко стоящие на земле... И невеста у него была как все – рыжая, конопатая, крепенькая... Так вот, поехал он за подарками, а вернулся с таким подарочком – не дай бог! Настоящая кочевая цыганка. Прожил с ней всю жизнь, прижил четверых детей, кучу внуков... Между прочим, я эту старуху видела в детстве тем летом, когда папа привез нас в Жовнино.

– А что это – Жовнино? Деревня?

– Да сейчас уже ничего, пусто... Озеро сейчас. А тогда было село, большое дивное село. И в голодное лето папа перевез туда, к деревенской родне, всю семью. Купили на пажах корову, и мы, детишки, выгоняли ее и пасли – мне-то лет

шесть-семь было, а все двоюродные-троюродные постарше. Эта корова нас спасла от голодной смерти. Мы ее пасли на взгорке рядом с церковью – замечательная высилась церковь на горе, отовсюду была видна... Кладбище при ней, трава густейшая, паси – не хочу... А когда уже после войны я с тобой, маленькой, приезжала в Полтаву и хотела навеститься в Жовнино, соседи сказали, что села нет и в помине! Затопили водой, по плану. Под водохранилище... А церковь ломали-ломали, взрывали-взрывали... А она не поддалась. Ну, ее так и затопили. Высится, говорят, колокольня посреди озера...

– Ну, погоди с колокольней... Что цыганка-то?

– Да я ее смутно помню... Она ведь мне как приходится... Прабабкой, да? Очень была древняя. Сутулая тощая старуха... Нос горбатый, косыночка белая. Обычная еврейская старуха.

– Но ведь в молодости, судя по всему, хороша была!

– А как же – красавица, говорят, невероятная. И мужу верная жена... Почти весь год. Весной только уходила в табор, об этом в родне как-то не принято было говорить. Месяца полтора где-то пропадала, как в поэмах. Классический образ: мол, гори все огнем.

– Ничего себе, – заметила я. – Хорошенькое дело в еврейской семье! Поэтому наша-то бабка и утаивала такое эксцентричное мужнино родство, да?

– Ну... Не только поэтому. Они все утаивали, сколько могли. Понимаешь, в народе всегда цыган считали колдуна-

ми. А эта прапраматерь к тому ж предсказывала будущее.

– Да ты что!

– Точно. Ну и вообще. Как теперь пишут – харизматическая была личность. Не говоря уж о том, что от нее всему потомству передались темные волосы, карие глаза и смуглая кожа. И неуправляемый нрав. Так что слабаки оказались рыжие против наших цыган. А сыновья и внуки – какие лошадиники все безумные! Я ж тебе рассказывала, что твой дед, папа мой, в Первую мировую служил в кавалерии? И во Вторую мировую, в эвакуации на Кавказе, уже немолодым человеком устроился работать в колхоз на конюшню, лишь бы к лошадям поближе. Умирал за лошадьми, разве что не крал... Да: и танцевал, как бог. На столе между рюмок мог протанцевать так, что ни одна не опрокинется. Такие гены ядреные. Вот и получается, что все потомство этой чертовой старухи и есть – «Ди Цыгайнерс».

Мы с мамой посмеялись, и я опять принялась паковать книги, альбомы, какие-то жалкие скатерти и ничтожные коврики. Будто цыганский табор сворачивал вечные свои шатры в преддверии весеннего кочевья.

С начала девяностых стала подтягиваться на Святую землю вся моя нечитаная родня – троюродные, многоюродные и перекрестноюродные братья-сестры, кому-то тетки, чьи-то племянники – изобильное хозяйство, раскинутое некогда по дальним пределам советской империи от Ташкента до Ир-

кутска, а теперь вот сгоняемое божьими пастухами на это весьма каменистое пастбище.

Сама я родственник плоховатый, инвалид своей вредной профессии – люди интересуют меня исключительно с сюжетной стороны. Поэтому вся прибывающая родня проходила через гостеприимные объятия моей мамы. Вечерами она звонила и сообщала радостно:

– Приехала Мила с семьей! Ты помнишь Милу?

– Нет.

– Ну как же ты не помнишь Милу?! Из Полтавы, дочка Раи, дедушкиной племянницы. Тебе было четыре годика, ей восемь, вы играли на берегу Ворсклы, ты уронила в воду целлулоидного пупса. Помнишь? Тогда все удивлялись, что Мила за чужой игрушкой плакала, как за своей, а ты глядела вслед пупсу изучающим взглядом... Да ты и сейчас смотришь таким взглядом на все свои кошмарные траты и убытки.

– Мам...

– Так вот, Мила ужасно хочет с тобой встретиться.

– Ма-а-ам...

– Нет, слушай, это уже будет обидой! Она очень просит. Собирает твои книги, гордится и так далее... Запиши телефон. Позвони ей красиво, как сестра!

Я позвонила красиво. И не пожалела. Эта моя какая-то там кисельная родня даже по телефону оказалась разбитной и словоохотливой. Говорила складно, завирально, с украин-

ским «хэканьем», по ходу дела отвлекаясь на реплики в параллельном разговоре то ли с гостями, то ли с домашними:

– Та ты ж не представляешь, как я... – И в глубь квартиры кому-то: – А пошли его в задницу, если будет свободная минутка!..

Надо эту сеструху потрепать насчет всяких историй, мелькнуло у меня. Ей вроде годков сейчас... Под пятьдесят.

И мы договорились о встрече.

– У тебя кудряшки-то остались, цыганенок? – спросила она.

– Нет, у меня лысина.

Она зашлась от смеха.

В ту минуту я и не подозревала, что меня ждет заповедная семейная история.

Сестра Мила явилась на другой же день, притаранилась аж из Беэр-Шевы, тремя автобусами. Бешеной-то собаке, заявила она с порога, семь верст не крюк.

Мы обнялись. Она оказалась чуть выше, полнее меня, породнее, но неуловимое сходство все же присутствовало – в жестах, что ли, в походке... Прохаживалась туда-сюда по квартире, вроде бесцельно, совсем как я, когда работа не идет, и хотя была в брюках, по движению бедер чудилось, что она шевелит-шевелит юбками, а сейчас запросто предложит погадать.

И, словно подслушав мои мысли, пропела:

– Ну, молодыя-хоро-о-ошия-а-а, откочевали ж вы на край пусты-ы-ыни...

Когда сели обедать, я пригляделась к ней лучше. Смуглая, темноволосая, с каре-зелеными глазами, она, несомненно, как и я, ощущала в себе толчки таинственной крови – она ведь как раз с той, дедовой стороны. Не спросить ли? Вдруг что расскажет...

Она заметила мой взгляд. И снова, будто мысли подслушала: сказала усмешливо, с сожалением:

– Эх, а какие кудряшки были рассыпчатые. Ну чисто цыганенок!

– Да и ты вроде не Мэрилин Монро...

– Какое там, – отозвалась она охотно. – Мы же все про-
цыганенные.

Ох, ну тут уж я вцепилась в нее мертвой хваткой – как, да что, да когда. Мои все за столом притихли.

А мы с позабытой сестрой, сидя друг против друга, подались обе вперед, налегли грудью на стол, будто – говорил потом мой муж, – будто две цыганки в тайный сговор вступали...

И заструился передо мной золотой пылью украинский полдень над дорогой, по которой мой рыжий прапрадед ехал в телеге на ярмарку покупать невесте подарок на свадьбу. Невесте рыжей, как тот полдень и те поля, и синеглазой, как то небо...

Что же произошло там, в трактире, когда цыганка подо-

шла к нему погадать? Приворожила? Заколдовала? Порчу наслала, как всю жизнь потом утверждала отвергнутая невеста? Да и вообще – откуда обо всем этом знают в родне?

– Как это – откуда! Так дядь же Коля, сосед, ветеринар, он знаешь, когда помер, – аж в пятьдесят девятом, глубокий был старик. Лет за сто. Я его чуток помню, смутно. Так вот он еще хлопчиком со своим батей на ту ярмарку вместе с нашим прапрадедом на одной телеге ехал. Он и рассказывал, как вошла цыганка в трактир, так парень, наш дедуля, и обмер: красавица была огнеметная. Ей и ворожить особо не требовалось. Пропал жених. В буквальном смысле: вышел с ней на улицу и как сквозь землю провалился. Это потом, месяца два спустя, он появился в Жовнино, да как! На чьей-то телеге прикатил. Подъехал к дому, перед которым вся родня высыпала – шутка ли, они ж не знали, оплакивать сына или искать его по канавам-ночлежкам... Подъехал, значит, слез с телеги, снял девушку, что рядом сидела, и молча внес на руках в дом.

– Красиво!

– Ой, не скажи. Это нам сейчас отсюда – красиво. А представь всю эту еврейскую родню, а ту семью, невестину, уже приданое в сундуках было уложено-переглажено, а... Да что говорить! Отколол наш прапрадед номерок. Всех презрел! Но выходит, и у него кровь была не водица, а?! Выходит, и он ей был пригож, если она осталась с ним на всю жизнь да нарожала четверых. На идиш говорила, как настоящая хай-

ка. Только весной уходила – в табор, в цыганский загул, но всегда верталась назад, а муж ее безропотно принимал.

Я слушала эту свою дальнюю сестру, любовалась провинциальной свободой жестов, словечками, раскатистым смехом. Завидовала... Она была настоящей, непрерывной; ее семья покидала те места разве что в эвакуацию. А потом вернулась. Не то что мы.

– Слушай... А правда, что в Жовнино все ее боялись, эту цыганку?

– Смотря кто... Многие боялись, да. Она говорила: кто мою кровь обидит, тот жестоко заплатит!

Я отшатнулась к спинке стула. Мурашки побежали по рукам до плеч, стало зябко. Так вот, значит, кто-кто-кто-о-о!

И я сказала:

– В какой-нибудь средневековой Франции ее бы непременно сожгли. Она что, гадала?

– Да ничего она не гадала! Будущее видела, это правда. И свою смерть предсказала. Причем за несколько лет. Я, говорила, сама поведу своих детей к могиле, а Нюся будет петь и плясать!

– Что?! Как же это? Кто такая Нюся?

– Господи, что с тобой, ты совсем родни не знаешь... Нюся, ее внучка, – это же Семена дочь. Вот смотри: ты – внучка Сендера, я – Ривы...

Она пошла загигать пальцы, как цыганка на ярмарке; посыпались из лукошка имена-прозвища, да с подробно-

стями, с пояснениями, как будто в ускоренной киносъемке лопались почки на ветке, выбегал отросток вправо, влево, оперялся листвой... Я заслушалась вкусной ее интонацией, мгновенно перестав следить за сыновьями и внуками горбоносой прапраматери.

— ...Так вот, к началу войны прапрабабка уже такая древняя была, что почти всех детей пережила. Внуки остались. И всех по фронтам-эвакуациям разметало. Кроме Нюси, старшей ее внучки. У той буквально за месяц перед войной мужа на фабрике током убило. Остались двое детей, мальчик и девочка. Сейчас бы наши с тобой дядя-тетя. Вот Нюся с бабкой-то и осталась. И что ты думаешь? Их расстреляли, конечно же, чуть не в первые дни со всеми остальными, а цыганку нашу аж по двум статьям: за еврейство и за цыганство, так что, с точки зрения немецкой бюрократии, они перевыполнили план. И вот слушай: Нюся-то перед расстрелом сошла с ума, и когда их гнали к яме, она пела и плясала. А старуха в ясном разуме вела своих детей к могиле. Как и предсказывала!

Тон у сестры был торжествующий, будто она сообщала о каком-нибудь небывалом семейном достижении, и привычную слезу, бегущую по склону крупного носа, тоже утерла торжествующим жестом.

Мы помолчали. Моя дочь тихо поднялась и стала собирать тарелки. Я как бы со стороны вдруг увидела ее вечно спутанные кудрявые волосы, длинную юбку, то ли индийскую,

то ли цыганистую. «Таборный вид» – это у нас в семье осудительное выражение.

– Нам откуда известно, как они умирали... – продолжала Мила. – Дочь дяди Коли шла с ними почти до конца, вместе с колонной. Все надеялась, что удастся хоть кого-то из мальцов выхватить, тем более сама бездетной была... Не удалось. Но вот она-то и видела все. Как перед смертью цыганка прокляла карателей воем страшным.

– Как это – воем?

– А вот так, – выла, что твоя волчица в зимнем поле. Но... Вроде как не в страхе, а... Заклинания творила. Древние какие-то заклинанья. Представляешь?

Я молчала.

– Какие же заклинанья? – спросил мой муж.

– Ну, дословно никто сейчас и не скажет, некому вспоминать. Но Колина дочь говорила: бабка выла нутряным таким воем, мол, ничего-о-о-о, вы, гады, палачи проклятушие, зе-е-е-млю за моих жрать будете, зе-е-е-млю жрать! Мои все до девятого колена присмо-о-о-о-тренные!..

– Как?! – вскрикнула я. – Как?!

Сестра Мила осеклась, растерялась... Глядела на меня в замешательстве.

– Как она сказала, повтори?!

– Ну... в смысле: ответите, гады...

– Нет-нет... подожди... – Сердце мое колотилось как бешеное. – Слово какое... вот это слово... мои все... все —?!..

– «Присмотренные» почему-то... Да, мне тоже показалось странным... Кем – присмотренные, на что – присмотренные?.. Но вот уж точно: буквально через день все, кто расстреливал, взлетели на воздух.

– То есть?!

– Разорвало их в клочья... Этому, что командовал расстрелом, башку оторвало, рот открытый весь был землей забит. Не партизаны, ничего... Какая-то бытовая нескладуха в комендатуре вышла. Кто-то бензин, что ли, пролил, а там рядом телега с соломой стояла и ружья заряженные...

Я уже не слышала подробностей. Все это было неважным, все. Я вскочила и вышла на балкон. Буйный восторг ударил мне в голову, грозный ветер хлынул в горло. Дикая, горькая радость душила меня! Вот оно, чудовищное, древнее, глубинно-утробное: око за око! А другого и не бывает, другое все – ложь, ханжество, тухлая серая кровь! Землю, землю за моих будете жрать, повторяла я, землю будете жрать!

И задышалась.

И не могла опомниться.

Такие дела...

Из-за этой цыганки, просто беда, сны мои одолевают не сдавшие зачет покойники.

Возникают среди ночных видений, укоризненно посматривают, молча качают головами – предупреждать, мол, надо бы... А я – что? Я так, подсадная утка. Нечего мне им ска-

зять, даже во сне.

И по-прежнему за моим затылком – неумолимым конвоиром! – ее грозная тень. И не устанет ведь, и не смягчится!

Моего свекра, например, не пустила на Святую землю – а ведь была мечта всей его жизни! Он уже и контейнер отправил. Не пустила: умер накануне вылета. И – не вдаваясь в подробности – было, было за что.

Со временем я успокоилась. Просто жизнь идет и, как глины ком, уминает и месит твои принципы, лепит-перелепливает ежеминутно картину мира, меняет представления о том, что есть справедливость, кому воздастся и кто за что ответит.

Вот сына выгнали с работы без предупреждения, без компенсации, незаконно, подло... И надо немедленно к адвокату... А тот письмо... И они обязаны... А если не отреагируют, то... И тогда они не отвернутся!!!

Я мысленно прикидываю насчет девятого колена, губами шевелю, пересчитывая имена, как последние монеты в кошельке. Наконец говорю с ледяным спокойствием:

– Закрой фонтан! Без тебя разберутся.

А ничем иным она меня, эта самая кровь, вроде и не беспокоит. Разве что плечи начинают ходить при первых же аккордах цыганской гитары, и по весне, в конце февраля, томительно запахнет былыми землями... Приснится вдруг на рас-

свете запах прелой травы из-под снега или чугунный, угольный дух прокуренного и обоссанного тамбура в плацкартном вагоне Ташкент-Иркутск.

И рука сама тянется пощелкать по клавиатуре компьютера – что там за скидки предлагают авиакомпании в марте – апреле?

Во всем остальном я, конечно, принадлежу другому народу. Принадлежу, ибо не верю в бесполость, надмирность и прочую вымученную галиматью, а верю в этот плотный телесный пахучий мир, в горячо пульсирующий сгусток кровей, в узловатые корни, проросшие гены, в жадное друг к другу любопытство и страсть.

Возвращаясь из очередного цыганского загула, я, как обычно, сначала маюсь с тележкой по всем закоулкам аэропорта, с трудом обнаруживаю на задворках дальнего терминала стойку регистрации рейса авиакомпании «Эль-Аль» – «Все неудобства – во имя вашей безопасности, мадам!» – и чуть ли не обреченно вхожу в выгороженное канатами пространство. Внутри его все бурлит хрипатыми, какими-то обветренными голосами, вскриками, детским плачем и молодым гоготом. И я мгновенно устаю, раздражаюсь и закрываю глаза от коловращения рук, лиц, плюшевых зверят и прочего таборного барахла.

Рехнуться от них можно, думаю я, не замечая, как и мой голос повышается в этом гомоне, резче становятся жесты, энергичней движения. Ведь тут с нашими не зевай, жми,

поглядывай, огрызайся, поддевай, заодно подтаскивай чемоданище какой-нибудь молодой мамаше, обвешанной тремя младенцами сразу.

И в самолете продолжают эти мучения, и не поспать, и не расслабиться, и не продраться в туалет, потому что в хвосте салона собрались на молитву черные грачи в адвокатских шляпах. Когда-нибудь они перевернут самолет в своей осатанелой страсти.

И я уже не чаю долететь, выдраться из колготни кагала, оказаться дома – став наконец одной, отдельной, самОй.

Вот он, народ твой, говорю я себе с досадой, народ твой присмотренный!

Подсадная утка Господа Бога, в душу мать!

Душегубица

Моя тетя Берта была убийцей.

В юности она забеременела от своего двоюродного брата, красавца, умницы и шалопая, и когда он посоветовал ей обратиться к Лежбицкому, известному доктору по дамским кручинам (деньги, кстати, твердо обещал), – подстерегла его с банкой серной кислоты и плеснула в лицо. Он страшно закричал, бросился за ней, упал и умер. Вернее, так: умер и упал – у него было слабое сердце.

Собственно, теткой Берта приходилась не мне, а маме. Так что корректирую временные координаты: дело происходило в начале прошлого века.

Тут важно представить культурное общество и уютную жизнь маленького городка, где разворачивается действие. Почтенное семейство Когановских, мой прадед Пинхус Эльевич и прабабушка Хая... Они не то чтобы очень богаты были, но все ж кондитерскую фабричку держали. Не бог весть что, работали на предприятии всем семейством, и было кому работать, между прочим: пять дочерей, одна в одну. Не шутка! Девочки сидели на завороте – заворачивали конфеты в фантики: мастерство утомительное, требовательное, все на быстроте пальцев. Виртуозы работали со скоростью конфета в секунду.

– Конфета в секунду?! – недоверчиво спрашивала я бабу.

– Ну, в две, – отвечала та.

Берта была второй по старшинству. Между прочим, она и образование получила неплохое – класса четыре гимназии, кажется. И обладала немалой склонностью к точным наукам – но это так, к слову. А на дореволюционной карточке, что хранилась... Господи, ну почему – хранилась? Просто валялась в толстом альбоме, кочевала меж картонными листами, оттесняемая к концу, к самому концу... – так вот, на той старой карточке (почему-то в них, в отличие от фотографий позднейшего времени, всегда присутствует душа мгновения, не правда ли? – незримый отпечаток тихого ангела, что пролетает в минуты, когда ты напрягаешь взор и держишь легкую улыбку в губах, ожидая отмашки фотографа: готово, барышня! Что улавливали из эфира эти матовые пластины в считанные секунды – одна... две... три... четыре... – когда клиент сосредоточен, чтобы не мигнуть, держать спину и выровнять бровь?) – на той, повторяю уже утомленно, картонной, с ажурными краями, постановочной карточке Берта, недавняя гимназистка, стоит, опершись на обломок коринфской колонны: за спиной романтические развалины замка в духе Ватто, на кисть намотан ремешок плоской сумочки – блик на ее металлической пряжке своей живостью не дает мне покоя лет уже сорок.

Пухленькая темноглазая девушка, изумительная кожа – это видно даже на картонке цвета слоновой кости. У нее и в

старости были гладкие румяные щеки.

С тех пор как мама под страшным секретом рассказала мне историю этой страсти, я пытливо вглядывалась в девичье лицо на фотографии: пристальные глаза под чуть припухлыми веками, ремешок сумки вокруг изящной кисти, узкий нос туфельки из-под платья... – когда это, когда? До? Или после? До? Или после того, как умер и упал?

Итак, мы вернулись к началу. Он умер и упал на крупный булыжник мостовой, шипя лицом...

Растрепанную и обезумевшую от икоты Берту притащили в участок прохожие свидетели, и вплоть до суда, почти до родов, она таки посидела в кутузке.

Между тем убитый (как остывает кровь и гаснет свет в этом глухом и тесно сколоченном слове!), убитый молодой человек приходился прабабушке Хае родным племянником! Любимым сыном ее родного брата. Старшим – у брата было еще двое сыновей. И прабабушка Хая – ангел, ангел, нечеловеческой доброты существо! – не в силах снести... да, именно это слово: снести страшной тяжести позора и горя, пошла вешаться в сарай за конфетным цехом.

Конфетный цех и сам по себе сараем был, но побольше и светлее. А в том, что выбрала себе для гибели прабабушка Хая, варили патоку в котлах. Из деревянных ящиков там прорастали и заплетались в узоры запахи цукатов, корицы,

ванили, сушеных яблок, вишен и слив... Лимонной и апельсиновой цедры...

В юности я довольно явственно представляла те несколько мгновений, что она успела повисеть... — по счастью, в сарай ворвались родные и вынули бедную из петли. Мое паскудное воображение, спущенное с цепи еще в раннем детстве, рисовало висящую в густых испарениях патоки старуху (прабабушка Хая тогда старухой вовсе не была), ее лицо в испарениях приторного удушья...

Короче, ее вынули из петли.

И самое поразительное для меня в этой истории то, что оба родных брата погибшего явились в суд свидетельствовать против него!..

Кажется, я могла бы написать рассказ о том, как эти два мальчика провели ночь перед судом. Старший брат, их кумир, гордость семьи, лежал в могиле, а они должны были публично предать его память, выгораживая злодейку, убийцу, гадину. И они это сделали! — так эти мальчики любили и жалели свою тетю Хаю. Каждый поднялся и произнес роковые слова обличения: да, брат был легкомысленным обманщиком, совратителем невинной девицы... И далее, что предполагается...

На скамью подсудимых не глядели, только на прабабушку Хаю, сидевшую в углу в черной шляпке под густой вуалью.

Ну, а теперь скажите мне: где тот Шекспир и кому он нужен?

Свидетельства братьев произвели на присяжных такое впечатление, что Берту оправдали.

Хотя потом, когда изредка она приезжала в Золотоношу навестить родителей (а после родов Берта с младенцем тотчас были сплавлены к дальним родственникам в Полтаву), оба этих брата не только не показывались в теткинском доме, но и покидали город на то время, что проклятая убийца отравляла воздух своим дыханием.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.